

МИХАИЛ ЗЕНКЕВИЧ · ЭЛЬГА

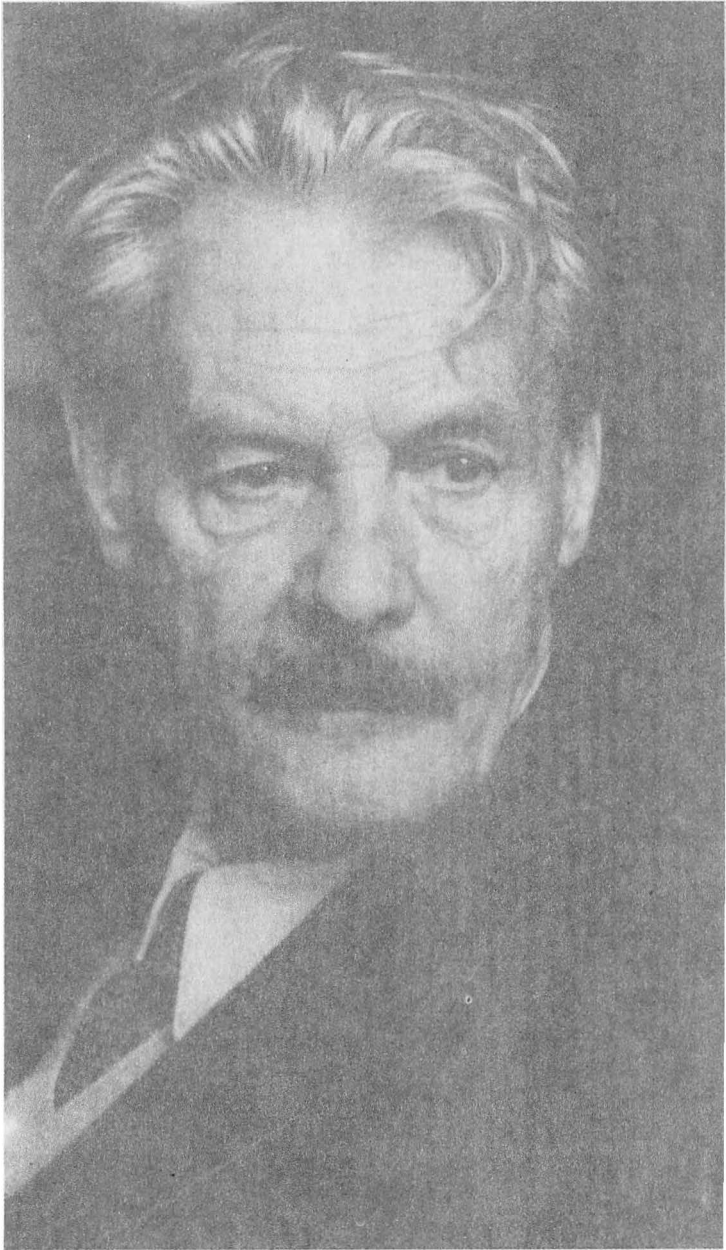


Михаил Зенкевич  
ЭЛЬГА

---

**Михаил Зенкевич**

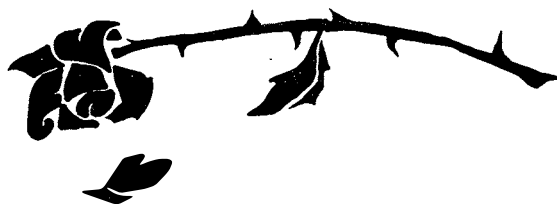
**ЭЛЬГА**



# Михаил Зенкевич

# ЭЛЬГА

БЕЛЛЕТРИСТИЧЕСКИЕ МЕМУАРЫ



Москва «Кор-инф» 1991

Составители *С. ЗЕНКЕВИЧ, И. ПОПОВ*  
Художники *М. АНИКЕЕВ, Е. УСТИНОВА*

Редактор *И. Попов*  
Художники *М. Аникеев, Е. Устинова*  
Технический редактор *Г. Немтинова*

Сдано в набор 14.05.91. Подписано в печать 11.07.91. Формат 60×90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.  
Бумага офсетная. Гарнитура таймс. Печать офсетная. Условн. печ. л. 13.  
Усл. кр.-отт. 13. Уч.-изд. л. 12,5. Тираж 75 000 экз. Заказ № 324. Цена 8 р.

Приложение к журналу «Лепта»  
Производственно-издательское предприятие «КОР-ИНФ»  
Таллиннская книжная типография, 200108, Таллинн, ул. Лаки 26.

## Вместо предисловия

Когда-то автор познакомил с этой книгой А. Ахматову. Анна Андреевна сказала: «Какая это неправдоподобная правда!» Автор и героиня романа хорошо поняли друг друга. Через весь фантастический лабиринт лирического повествования, через размагничное, интеллигентское «я» автор протягивает лишь один нерв — правда названье ему. Больше того — правда автобиографическая. Если автор в чем ошибся, то это не вина его, а беда. О себе всегда трудно говорить объективно.

М. З.

## Слово свидетеля.

При жизни автора я была связана словом: «Рукопись не читать!» Тем сильнее книга произвела на меня впечатление теперь. (...)

Кто Эльга? Конечно, Ахматова; точнее, она стала прообразом этой демонической героини. С ней у Михаила Александровича связана, по-видимому, лирическая история предреволюционных лет, едва не закончившаяся трагедией. Долгие, долгие годы в нашем доме сохранялся кинжал (охотничий нож). Его истории я не знала. В 1973 году Михаил Александрович скончался. И когда я впервые вынула нож-кинжал из стола — потемневший, страшный, — мне стало не по себе. Я не могла уже заснуть.

Что касается моего отношения к Анне Андреевне Ахматовой и к Николаю Степановичу Гумилеву — талантливым людям — для меня было праздником, когда один студент принес нам с Михаилом Александровичем семейное фото этой прославленной пары поэтов с их маленьким Левушкой.

Муж немало хороших стихов посвятил Ахматовой.

Мужу хотелось, чтобы роман дошел до читателя. Ровно 50 лет он ждал (роман написан в 1928 году).

*Александра Зенкевич.*  
Москва. (1978 г.)

## «Странная книга...»

«Какая странная книга! Что это — записки душевнобольного или фантастический роман? К чему это нагромождение мучительных кошмаров и галлюцинаций? Зачем понадобилось автору идти самому и манить за собой читателя по горячечной пустыне сипнотифозного бреда...» — так начинается написанная в 1927 году авторецензия Михаила Зенкевича на свой почти уже завершённый (он писался с 1921 года) роман. Текст, предваряемый этим авторским вступлением, в котором «извинения» за сумбуренность повествования чередовались с чуть ли не на детей рассчитанным объяснением всех «сюрреалистических» эпизодов, был тогда же предложен издательству «Советский писатель» и, естественно, решительно отвергнут. Да и могла ли иной быть реакция на эти «записки душевнобольного», замаячившие некстати накануне «великого перелома» и самой формой своей ставившие под сомнение исключительную верность нарождавшегося метода соцреализма? Понял это (хотя и не сразу) и автор и, не имея другого выбора, спрятал рукопись в ящик письменного стола, где пролежать ей суждено было больше шестидесяти лет. О романе, конечно, знали многие (например, Ахматова), как явствует из крошечного авторского вступления, Надежда Мандельштам (см. ее язвительные строчки во «Второй книге»), но о выходе книги к широкому читателю помыслить было трудно.

Сейчас ситуация изменилась, и изменилась к лучшему. Прошел ряд журнальных публикаций, и, наконец, подготовлено это издание, куда включены две книги Михаила Зенкевича — «Эльга» и «Дикая порфира» — лучшие его работы, взаимосвязь которых очевидна и откроется вам после знакомства и с той, и с другой. Но сначала немного об «Эльге», так как вопросы по ходу чтения ее неизбежны, и совсем нелишне будет предупредить наиболее вероятные.

Книга не типична для Зенкевича во всех отношениях. Во-первых, он, четвертый — после Гумилева, Ахматовой, Мандельштама — акмеист, считал себя поэтом и только поэтом (в дальнейшем еще и переводчиком поэзии), и даже за обзорные статьи или рецензии (судя по их сухому и строгому тону) брался неохотно и лишь из материальных

соображений. А тут — достаточно объемная прозаическая книга, писавшаяся почти семь лет и без всякой гарантии быть опубликованной. Во-вторых, любое «воспоминание» вообще не было ему присуще: никаких дневников он после себя не оставил, а на закате жизни «записки» ему заменяли немногочисленные лирические стихи. Обращение единственный раз к прозе, причем — к мемуарной прозе, имело для поэта особый смысл и значение, которые и определили ее личностный (но тщательно завуалированный) характер. Даже жанр был подобран непривычный — «беллетристические мемуары». В этом сочетании — ключ к разгадке многих тайн романа.

Действие начинается с приезда в 1921 году героя из его родного Саратова (через Москву) в опустошенный и голодный Петроград (интеллигенция и тогда продолжала настойчиво называть город Петербургом), с его заболевания «модной интеллигентской болезнью» — раздвоением личности. В третьей главе герой, после долгого перерыва, встречается с Ахматовой, точнее, с «первой» Ахматовой романа, ибо «другая», существующая более в воображении героя, чем наяву, заключена для него в полумистическом образе Эльги. Именно она становится воплощением «бредового» мира, населенного призраками и делающего для героя перемещения во времени столь же доступными, как переход из одной комнаты в другую. Говоря о Гумилеве, тогда уже расстрелянном, автор бесстрастен внешне, но само «воскрешение» запретного имени стоит многого, оно как благодарная память о товарище и единомышленнике. Все центральные образы даны через призму «потусторонности», что для читающего усиливает привлекательную «беллетристическую» сторону вещи, а для автора (он, несомненно, учитывал это) могло служить оправданием «кромольного» духа романа. Фантасмагория «Эльги» роднит ее в чем-то с «Мастером и Маргаритой». Впрочем, задачи автора были скромнее. Понимая прекрасно, что страна вступила на абсолютно новый, непредсказуемый путь, что то, что случилось с Гумилевым, может случиться (а ведь так и вышло) с каждым из его поэтического поколения, Зенкевич желал оставить хотя бы скрытое под новеллистическим покровом свидетельство об уходящей эпохе, в котором нашлось, конечно же, место отмеченному Н. Мандельштам «горестному прощанию» — с юностью, с акмеизмом, с прошлым, ставшим частью души, но которое, благодаря отсутствию сомнительных проро-



честв и обобщений, преобразилось с течением времени в некую абстрактную, но достоверную *психологическую* хронику ярчайшего периода истории нашей. «Детали» мыслей и чувств преобладают над деталями обстановки. Последние также не упущены: как бы ненароком узнаём мы и о количестве ступенек, ведших в подвал «Бродячей собаки», и о стоимости обеда в тогдашнем Доме литераторов... Внутреннее единство глав, порою разрозненных, подкрепляется вкрапленными в текст стихотворными строчками — Гумилева, Ахматовой, Мандельштама... Не раз упоминается и «Дикая порфира». Можно с уверенностью сказать, что ныне, спустя восемьдесят лет после выхода в свет, ее успели забыть основательно, и стихов из нее, кроме хрестоматийного «Человека» или «Махайродусов», никто почти назвать не сумеет. Издано было в 1912 году (на средства автора) всего сто экземпляров (к слову, тираж ахматовского «Вечера» был 300 экз.), и теперь в лучшем случае сохранилась десятая их часть. Встреча сборника была шумной: в прессе появились до тридцати отзывов — Брюсов, как обычно, ругал, Чулков хвалил, Вяч. Иванов «предостерегал» молодого поэта от возможных промахов, но своеобразие стиля отмечалось повсеместно. Стихи были отражением на практике теоретических постулатов акмеизма, автор в них, по его собственному определению, пытался «представить явление во время его наибольшего напряжения изнутри, наибольшей готовности к взрыву, а снаружи подвергнуть его давлению, во много раз превышающему давление воздушного столба над землей...» Духовный строй этих дореволюционных стихов Зенкевича близок настроениям «Эльги», они (вместе с посвященным Ахматовой и Гумилеву «Наваждением») дополняют ее замысел хотя бы иллюстративно и иногда комментируют некоторые моменты повествования.

Соединение книг под одной обложкой гармонично и увеличивает ценность каждой из них. Полнее будет и читательское представление об их авторе. «Странная книга» выходит из искусственного заточения, становясь реально частью литературы, то есть исполняя действительное свое предназначение.



**ЭЛГА**

*НАВАЖДЕНИЕ*

По залу бальному она прошла,  
Метеоритным блеском пламеня.  
Казалась так ничтожна и пошла  
Толпа мужчин, спешащая за нею.  
И ей вослед хотелось крикнуть: «Сгинь,  
О, наваждение, в игре мгновенной  
Одну из беломраморных богинь  
Облекшее людскою плотью бренной!»  
И он следил за нею из угла,  
Словам другой рассеянно внимая,  
А на лицо его уже легла  
Грозы, над ним нависшей, тень немая.  
Чужая страсть вдруг стала мне близка,  
И в душу холодом могил подуло:  
Мне чудилось, что у его виска  
Блеснуло сталью вороненой дуло.

*август 1918.*

## I. Синее пальто вместо красной свитки

Какой дьявол занес меня в этот мертвый страшный Петербург! Помню, еще в Москве, когда я стоял перед храмом Христа Спасителя («этой гигантской чернильницей», как назвал его один знакомый футурист-художник), я вдруг почувствовал неожиданную радость при мысли, что завтра после четырехлетней разлуки снова увижу Неву, гранитные набережные, адмиралтейство, Исаакий, Сенатскую площадь с Медным всадником... Да, радость и волнение, такие же почти (хоть и не идет это сравнение к Петербургу), как перед свиданием с любимой женщиной. А теперь, добравшись сюда, я хочу одного — уехать как можно скорей, и боюсь, что не выеду, что этому помешает какое-нибудь неожиданное препятствие.

Первым делом по приезде я отправился на Васильевский остров взять свое английское демисезонное пальто, оставленное в семнадцатом году. Пальто уцелело и хранилось в надёжном месте, но я все же беспокоился. У Академии Художеств я слез с трамвая и не мог удержаться, чтобы не подойти к Фиванским сфинксам. Постоял несколько минут перед ними в благовейном созерцании, загипнотизированный их притворно слепым под каменной плевой взглядом, и зашагал дальше. Надо спешить, трамвай ходит только до шести вечера.

У одного из домов на набережной, около водосточной трубы, я заметил небольшое рукописное объявление: «Миллион рублей тому, кто укажет»... Заинтересовавшись, я стал читать: «где находится женщина... ушедшая вечером... в платке». В конце адрес и подпись: Федор Сологуб. Что за ерунда! Потом вспомнил, что рассказывали в Москве. Анастасия Чеботаревская, жена Сологуба, ушла из дома и бросилась в Неву в припадке психического расстройства. Сологуб, как сумасшедший, бегал

по всему городу и расклеивал свои объявления, не верил в её смерть и каждый день, садясь за стол, накрывал для неё прибор. Разве сорвать на память? Нет, крепко приклеено. Нехорошая история! Совсем, как у него в рассказах. И вода в Неве свинцовая, холодная, и лететь с перил моста до нее долго — саженей пять или больше.

Эти чертовы линии на Васильевском, как солдатские шеренги на смотре, и все — как одна. Трудно найти дом, уже сумерки и номера не светятся. Кажется этот, хотя номера нет: разбит. Парадная закрыта, придется искать с черной. Долго лажу по лестницам, звоню, стучу, ищу дворника и вместо дворницкой попадаю в пещеру со сталактитами испражнений. Наконец со спичками разглядел номер квартиры. Дверь открыла молодая миловидная женщина. Пахнет жареной на постном масле картошкой. В кухне на скамейке сидит бородатый, длинноволосый, апостольского вида мужчина и точает сапоги.

— Я так долго искал вас, — говорю я, отдавая письмо и впадая в доверчиво фамильярный тон от радости, что сейчас получу свое пальто.

Женщина смущенно перечитывает письмо.

— Вы хотите взять пальто, которое оставил Лев Александрович?.. Но его нет... его украли.

— Как украли? — заревел я. — Но мне сам Лев Александрович говорил, что пальто цело и находится у вас. И это было неделю назад.

— Украли через три дня после его отъезда... Помогите же, Коля, я не знаю, как ему объяснить. Он не верит. Объясни хоть ты.

— Расскажи все, как было, — стоически спокойно наставляет муж, не отрываясь от своего сапога.

И она ведет меня отупелого, как после известия о неожиданной смерти близкого человека, по квартире и приводит в переднюю.

— Вот здесь на вешалке висело ваше пальто, как его оставил Лев Александрович. Мы его даже не трогали.

А вот здесь комната Льва Александровича. Спустя несколько дней после его отъезда у нас ночевал со своей невестой один молодой человек. Мы не могли ничего заподозрить, он явился с письмом от самого Александра Христофоровича (это глава их растяпского религиозного кружка!). У нас было холодно, нетоплено. Он попросил разрешить ему накрыться вашим пальто. Утром мы с мужем рано ушли, а когда вернулись, то дверь на парадную была открыта. Пропало пальто, покрывало, белье. Подумайте, мы сами остались совсем голые...

Все в том же бесчувственном отупении я выслушал горестную историю моего пальто, посочувствовал их несчастью, обещал еще раз зайти и на всякий случай оставил свой адрес.

Пустынные темные коридоры улиц, мертвые нежилые корпуса домов. Вот линия, где были Бестужевские курсы. Сколько окон здесь светилось по ночам, сколько головок девушек наклонялось у цветных абажуров ламп над лекциями. После жаркого лета, собираясь сюда в осеннем слете, сколько приносили они в полярные сумерки мрачного города и тепла, и молодости, и задора, и смеха! А сейчас, как мертвецкие, страшны эти неосвещенные заброшенные дома.

Но мысль о пальто заслоняла все: синее, из лучшего английского материала, на серой подкладке, совсем не ношенное, — оно так и маячило у меня перед глазами. И еще в расчете на него я перед отъездом обменял старый отцовский чапан на два с половиной пуда ржи. Только теперь я понял, что главной целью моего приезда были не стихи, не тоска по Петербургу, а это синее английское демисезонное пальто. Ради него я рисковал заболеть тифом, спал в нетопленных вагонах, таскал на плечах багаж, затратил последние деньги, и вот — все напрасно!

С такими мрачными мыслями тащился я, плутая по темным улицам, с конца Васильевского острова на Петроградскую сторону к Плуталовой улице.

И все же я тогда не думал, что это синее английское пальто будет для меня чем-то вроде дьявольской красной свитки, за пропажей которой последует целый ряд необыкновенных приключений и событий.

## II.

### Ночной велосипедист

Неудачи начались уже на следующий день. Из остальных вещей, оставленных в Академии Художеств, вместо нового летнего пальто и визитной пары, я получил только одну визитку, да и ту без жилетки. Я даже заколебался — брать ли? Все равно, возьму, в крайнем случае, как и сюртук, продам на картузы. Зашел в «Книжный угол» и предложил свою книжечку стихов.

— Сколько у вас всего экземпляров?

— Двести.

— И сколько хотите?

— По три тысячи.

— Всего, значит, шестьсот? Хорошо, мы возьмем все. Вот вам сто пятьдесят, остальные сможем отдать в конце следующей недели.

— Но я хочу послезавтра ехать.

— Рад бы, но не могу никак. В середине той недели постараюсь отдать.

Нечего делать, придется остаться на неделю. Я так и знал, что меня что-нибудь да задержит и что выбраться из Петербурга будет еще трудней, чем попасть в него. Не бросать же деньги — ведь это почти полтора пуда ржи.

Отправился в Публичную библиотеку к Лозинскому. Он вышел ко мне в енотовой шубе и валенках. Руки у него забинтованы марлей: какие-то нарывы от цинги.

В нетопленной библиотеке холодней, чем на улице.

Груды старых толстых книг лежат, как кизьяки, и внушают только одну мысль: о топливе.

Заговорили о последних литературных событиях, о смерти Блока, об Ахматовой, но разговор прервало появление Сологуба, пришедшего к Лозинскому по какому-то делу. От коротконогой, кувалдой приплюснутой к полу старомодной фигуры, круглого чиновничьего, аккуратно выбритого лица со старческим румянцем и ровного бесстрастного глухого голоса Сологуба веет (или мне так кажется) чем-то злым, передоновским: объявление у водосточной трубы, накрытый прибор для покойницы и пыльной метелицей по полкам, по грудам книг завихрившаяся недотыкомка. Хоть я и встречался с ним не раз, он меня не узнал.

— Не припомню... А правда, что у вас на Волге мертвецов едят?

— Да, было несколько случаев трупоедства. Газеты писали, — ответил я, и избегая инспекторского недоброго взгляда Сологуба, уставился на большую не то бородавку, не то родинку над белой, похожей на облезлую зубную щетку бровью. — Там сейчас тяжело жить. Целый день отчаянный стук в двери и вопли голодных, которым нечего подать...

— А мне, знаете, как-то даже и не жалко. Мы с Анастасией Николаевной сами так голодали, — стукнул слегка палкой по полу Сологуб и, отвернувшись, стал разговаривать по своему делу с Лозинским.

Я распрощался и пошел обедать на Бассейную в «Дом Литераторов». Какое счастье: можно погреться! В роскошной дымной зале трещит камин, полный сосновых дров. Красные зайчики пляшут в зеркалах, на золоченых рамах и лепных потолках.

Обед не плох и не дорог — со скидкой двенадцать тысяч, но никак не удержишься, возьмешь кофе или пирожное, а это лишних пять тысяч. Рядом со мной кончает обед какой-то почтенный седовласый литератор или ученый. Он поспешно встает, накидывает на плечи



мешок, очевидно, с пайком и выходит. Подавальщица из кухни испуганно бросается к столу.

— Вы не видели, куда ушел господин, что здесь обедал? Он не заплатил за обед.

— Он только что вышел.

Подавальщица опрометью кидается на улицу и через несколько минут, запыхавшись от бега, приводит почтенного ученого или литератора. Тот возмущается, призывает администрацию, кричит, что это безобразие, что он оставил деньги на столе, но в конце концов великодушно платит во второй раз.

Я молча наблюдал эту сцену, хотя и видел, что почтенный литератор или ученый никаких денег на столе не оставлял.

Уже больше шести — опоздал на трамвай. Остаюсь и слушаю какую-то скучную лекцию. Потом в одиннадцатом часу тащусь пешком на Петроградскую сторону.

Жутко пересекать пустынное темное Марсово поле — площадь памяти жертв Революции. Будь что будет, а даром последнее пальто не отдам, и я сжимаю в кармане перочинный ножик и подстегиваю под ремень полы на случай, чтобы легче было бежать. Ни одного попутчика, ни одного прохожего! Справа чернеет и хрустит сучьями Летний сад, белея стоячими дощатыми гробами статуй. Шелестит и низкорослый кустарник, которым засадили площадь так, что она стала похожей на поле из картины Верещагина «Панихида». Вот и могилы борцов Революции. Те же деревянные, кажется, а может и каменные в начале стройки (в темноте не разберешь) мостки. И передо мной проносится величественная манифестация похорон жертв Февральской революции. Сотни тысяч в колоннах, черные бесконечные ряды, а над ними плывут алые гробы и знамена, красные, малиновые, с золотыми кистями и буквами, гремят многоголосые, сшибающиеся как волны десятки оркестров и перекачивается пение революционных гимнов. Где теперь эти сотни тысяч, сколько из них остались живы? Они

прошли или пройдут, как и те. И мне мерещатся парады и смотры, что развертывались когда-то на Марсовом поле: рослые гвардейцы в киверах и мундирах, усатые красавцы в сверкающих латах на горячих кровных конях, проходившие ротами и гарцевавшие эскадронами перед глазами лежащих теперь под мраморными саркофагами в Петропавловском соборе мертвецов. Когда особенно густой туман с Невы заполняет площадь и часы с крепости бьют полночь, то можно представить, что здесь разыгрываются призрачные ночные смотры, как в балладе Жуковского.

Вдруг я вздрогнул. Мимо, чуть не сбив меня с ног, бесшумно, без фонаря и без звонка, пронесся велосипедист и свернул на Миллионную. В темноте я успел разглядеть (ясно, как днем) где-то виденное раньше красивое, нерусское смуглое лицо и черные глаза. В появлении велосипедиста не было ничего необычного, но когда он исчез, на меня напал ребяческий непреодолимый страх. Я бросился бежать и только тогда успокоился, когда за памятником Суворова перед мостом встретил первых прохожих.

### III.

#### У камина с Анной Ахматовой

Анна Ахматова служит библиотекаршей в Агрономическом институте, и ее собираются уволить за сокращением штата! Для меня это не менее неожиданно, как и то, что она, оставив Гумилева, стала женой горбоносого ассириолога Шелейко.

В библиотеке института тоже холодно, но не так, как в Публичной. В небольшой комнате толпится кучка мужчин и женщин, одетых по-зимнему — очевидно, библиотекари.

— Скажите, пожалуйста, где я могу найти здесь Анну Андреевну Ахматову?

При этих словах из хмурой кучки библиотекарей отделяется высокая женщина и с улыбкой протягивает мне руку: Ахматова!

— Здравствуйте. Мне Лозинский сообщил вчера о вашем приезде. Очень рада вас видеть. Идемте ко мне.

Тут же, через коридор, ее комната с двумя высокими окнами, золоченым трюмо в простенке и большим камином. В комнате холодно, нет ни печи, ни даже буржуйки.

— Затопите, пожалуйста, камин и подайте нам какао, — отдает Ахматова распоряжение какой-то немолодой интеллигентной женщине, вероятно, ухаживающей за ней из любви к ее стихам.

Мы оба в зимних пальто усаживаемся в кресла, от дыхания идет пар, но камин вспыхивает и празднично трещит сосновыми дровами, и в руках у нас дымятся поданные на подносе фарфоровые чашечки.

Да, она осталась все той же светской хозяйкой, как и в особняке в Царском!

— Это какао мне прислали из-за границы. Получили посылки я и Сологуб, и от кого-то совсем незнакомого. Ну, рассказывайте о себе.

По лицу Ахматовой, освещенному при дневном свете золотистым пламенем камина, проходят тени.

— Последние месяцы я жила среди смертей. Погиб Коля, умер мой брат и, наконец, Блок! Не знаю, как я смогла все это пережить!..

— Говорят, вы хотите ехать за границу?

— Зачем? Что я там буду делать? Они там все сошли с ума и ничего не хотят понимать.

Она рассказывает о последнем вечере Блока в Большом драматическом театре, вспоминает о веселых и шумных собраниях Цеха поэтов с дешевым красным вином и молодыми стихами, о Гумилеве...

— Для меня это было так неожиданно. Вы ведь

знаете, что он всегда был далек от политики. Но он продолжал поддерживать связи со старыми товарищами по полку, и они могли втянуть его в какую-нибудь историю. А что могут делать бывшие гвардейские офицеры, как не составлять заговоры? Но довольно об этом. Давайте читать стихи.

— С условием, что вы читаете первая.

— Хорошо, я прочту стихотворение о смерти Блока. Лурье написал к нему музыку и оно скоро будет исполняться на вечере памяти Блока.

И опять, как когда-то на собраниях Цеха — «Звонящий голос, горький хмель души расковывает недра»<sup>1</sup> — и четко вырезается на белой стене строгий, дантовский женский профиль с неизменной челкой на лбу.

При чтении Ахматовой передо мной проносятся обрывки воспоминаний. Вот она в первый раз, в отсутствие Гумилева, уехавшего в Абиссинию, читает в редакции «Аполлона» свои стихи и от волнения слегка дрожит кончик её лакированной туфельки, а Вячеслав Иванов её за что-то отечески журит. Вот я везу её «Вечер» вместе со своей «Дикой порфирой» на склад к Вольфу, и на собрании Цеха поэтов мы сидим с ней в нелепых лавровых венках, сплетенных Городецким...

А Смоленская сегодня именинница,  
Принесли во гробе серебряном  
Александра, лебедя чистого...

И мне мерещится зеленое Смоленское кладбище, и я вижу, как поднимают упавшую после похорон в рыданиях на могилу Блока Ахматову.

---

<sup>1</sup> Измененная строка из стихотворения Мандельштама «Ахматова». Далее приводятся значительно измененные строки стихотворения Ахматовой «А Смоленская нынче именинница...» Эти и аналогичные примеры (скажем, цитируемый в главе «Вечер в «Аполлоне» рефрен — также измененный! — из стихотворения Гумилева «Заблудившийся трамвай») говорят о своеобразном восприятии М. Зенкевичем стихов его современников.

— Скажите, Анна Андреевна, ведь это выдумка о вашем будто бы романе с Блоком?

— Кто-то сочинил эту легенду. Я ведь почти не виделась с Блоком и только недавно узнала, что он любил мои стихи...

— Простите, Анна Андреевна, нескромный вопрос. Но я уже слышал о начале вашего романа с Николаем Степановичем, и даже то, как он раз, будучи студентом Сорбонны, пытался отравиться из-за любви к вам, значит, мне можно знать и конец. Кто первый из вас решил разойтись — вы или Николай?

— Нет, это сделала я. Когда он вернулся из Парижа во время войны, я почувствовала, что мы чужие и объявила ему, что нам надо разойтись. Он сказал только — ты свободна, делай, что хочешь, — но при этом страшно побледнел, так, что даже побелели губы. И мы разошлись...

Пламя в камине замирает, чашечки с какао стынут, стихи прочитаны, в окнах синеют сумерки — пора!

Я прощаюсь с провожающей меня Ахматовой и целую у наружной двери ее узкую руку.

Как она сильно выросла, вместо прежнего женского тщеславия у ней появилась какая-то мудрость и спокойствие. Да, как ни стараются ее ополщить поклонницы и подражательницы и женолюбивые критики, она все же остается Анной Ахматовой.

Мимо Инженерного замка вышел я на площадь Лассалья, бывшую Михайловскую, но прежде чем сесть на трамвай, мне вдруг захотелось посмотреть «Бродячую собаку». В конце второго двора нашел я знакомый заколоченный вход в подвал. Как теперь было бы жутко спуститься туда, в сырость и темноту, и постоять там одному!..

У трамвая в очереди я вдруг почувствовал некоторую неловкость. Так бывает, когда кто-нибудь особенно пристально смотрит сзади. Я обернулся: в конце очереди какой-то человек в оленьей дохе точно лорнировал

меня своим немигающим стеклянным взглядом, я был как бы в фокусе расхождения его косящих глаз. Как он похож на Гумилева! То же неправильное, холодное, деланно-высокомерное лицо и серые, слегка косые глаза! Публика задвигалась, подошел вагон. Я хотел поближе при свете рассмотреть похожего на Гумилева человека, но его в вагоне не оказалось.

#### IV.

### Ночной визит доктора Кульбина

Скверно то, что я заболеваю и, кажется, серьезно. Боюсь, не тиф ли, хотя еще нет двух недель, как я выехал. Меня лихорадит и знобит и я никак не могу согреться. Вдобавок живу я в парадных комнатах, уже закрытых было на зиму. Хотя печку и топят, но нагреть обширное помещение невозможно, да и дрова, мокрые, просмоленные бревна и доски с разобранной осенью баржи, дают больше угара, чем тепла. Кругом мебель из красного дерева и карельской березы, золоченые зеркала, шкафы с дорогими книгами, но холод... холод!.. Иногда является безумная мысль: свалить все книги в камин и жечь, жечь, пока не станет хоть чуточку теплее. Единственное средство — это накрыться с головой одеялом, зимним пальто и согреваться своим дыханием. Улегшись так, я скоро уснул и проснулся, когда уже стемнело. Голова болела и кружилась, в висках звенело, и я с трудом добрался до выключателя и зажег электричество. Комната показалась мне завуалированной синей мглой. Сомнения нет, я угорел, хотя печь уже остыла. Эта проклятая смола нет-нет, да и вспыхнет из-под золы, прямо хоть совсем не закрывай вьюшек.

Я вымываю голову под краном, выпиваю зачем-то стакан воды, окрасив ее, как красным вином, кристал-

ликом камня гиперморганика, — средство дешевое и, говорят, предохраняет от заразы. Потом достаю «Пиковую даму» Пушкина с рисунками Бенуа. Читаю, укутав ноги одеялом и пальто, но ложиться боюсь — как бы совсем не угореть. Повесть захватывает меня своей чисто петербургской фантастикой и я несколько расслаиваюсь.

Но вот сквозь звон в ушах ясно слышится телефонный звонок. Ерунда, это звон от угара! Звонок повторяется более длительный и настойчивый, я даже вижу, как слегка подергивается трубка аппарата на письменном столе и, чтобы окончательно убедиться в обмане слуха, подхожу к столу, снимаю трубку и говорю машинально:

— Алло!

— Здравствуйте, голубчик! — слышу я вдруг чей-то знакомый, измененный телефоном мужской голос, но такой далекий, как будто говорят по прямому проводу из Москвы. — Не узнаете, дорогой? Нехорошо, нехорошо! Или забыли, как я давал вам медицинское свидетельство для поступления добровольцем в артиллерию, когда вы хотели геройствовать по примеру Гумилева?

— Кульбин?

— Он самый, Николай Иванович Кульбин, действительный статский советник, приват-доцент военно-медицинской академии, главный врач генерального штаба и звание превыше всех — художник-футурист.

— Но ведь вы...

— Умерли, хотите вы сказать? Ха, ха, плохо же вы, батенька, знакомы с четвертым измерением, которое воспевали. Как там у вас про Леганье-то сказано...

Тут телефон на несколько секунд прервался.

— Но вы, я слышал, заболели. Вот что, дорогой мой, я заеду посмотреть вас перед съездом в «Бродячей собаке», часиков этак около двенадцати.

Телефон опять прервался и на этот раз уже оконча-

тельно. Сколько я ни слушал, ни нажимал аппарата, вызывая станцию, — ответа не было, лишь гудел глухой шум, как от телеграфных столбов.

— Вы так можете целый день звонить и все без толку, — раздался сзади меня спокойный басистый голос хозяина квартиры матроса-подводника. — Разве вы не знаете, что после взрыва на телефонной станции все телефоны в городе не работают.

— Но мне послышался звонок и голос по телефону.

— Это у вас звон от угара. Опять чертова печка наладила смолой. А сколько мы из-за этих дров бились, в октябре по пояс в воде разбирали баржу. Пойдемте лучше к нам на кухню чай пить.

После чая и беседы с матросом о том, как он ловко на паях с товарищами провозил на подводной лодке контрабанду из Финляндии, согревшись, я вернулся из черной жилой половины на свою парадную — нежилую.

К двенадцати обычно все засыпают, и только изредка раздается заглушенный плач грудного ребенка. Я полу-раздеваюсь, так как сплю в свитере и в шерстяных носках, и залезаю под одеяло и пальто. Спать не хочется и я опять принимаюсь за «Пиковую даму».

По коридору слышатся чьи-то шаги, потом легкий стук в дверь — дверь наполовину открыта для тепла, только занавешена.

— Кто там? Войдите.

В комнату вошел, но так неожиданно и быстро, что я не успел даже испугаться, Кульбин. Да, покойный Николай Иванович Кульбин — я его сразу узнал — тот же лысый череп, желтое, слегка подкрашенное румянцем, как у мумии, лицо, поношенный военный китель хаки и брюки в генеральских лампасах. Даже не постарел, только высох и пожелтел и йодоформом страшно пахнет. И болтун такой же, сразу затараторил, как на футуристическом диспуте.

— Ну, еще раз здравствуйте, батенька! Как ваше



самочувствие? Небольшой жарок, пульс слегка повышенный, — рука его, щупающая мой пульс, совсем не холодная, только какая-то необычно легкая, сухая. — Дайте я вас выслушаю. Ничего, не поднимайте свитера.

Он достал слуховую трубку и, нагнувшись, быстро выслушал и выстукал меня.

— Ничего, пустячки! Маленькая повторная испанка. Денек посидите дома и попринимайте порошки. Я вам сейчас пропишу.

Он присаживается к столу, отрывает листок настольного календаря и что-то пишет.

— Ну-с, дорогой, мне некогда. До свидания! Спешу — сегодня мой доклад в «Бродячей собаке» о теории относительности и футуризме. Жаль, что вы не можете быть. Увидимся в «Собаке» или заглядывайте ко мне, от семи до двенадцати вечера. Адрес, вы помните, старый. Тогда побеседуем подробней.

Он исчез так же быстро, как и вошел, не дав мне даже открыть рта. Но дверная портьера при его уходе не зашевелилась и шагов в коридоре я уже не услышал.

Только после его исчезновения начал я чувствовать страх и, чем дальше, тем сильнее. Я лежал в постели при зажженном электричестве, боялся встать, пошевелиться и не спускал глаз с занавешенной двери. В таком положении находился один мой знакомый студент-медик, вернувшийся в пустую квартиру, где лежал старичок-покойник, и спокойно улегшийся спать в своей комнате. Уже в постели, в темноте, почувствовал он непреодолимый страх и лежал неподвижно, боясь встать, одеться и уйти — ему казалось, что тогда случится самое ужасное, — пока его не выручили пришедшие старушки-начетчицы.

Так лежал и я в напряженном оцепенении, не ощущая времени, пока не засветало и не раздались голоса и шаги рано встающих жильцов.

## V. Аптека на Ружейной

Когда я проснулся около двенадцати часов дня, все вчерашнее показалось мне бредом. Меня смутил только календарный листок на письменном столе с какими-то кабалистическими знаками, нацарапанными чернилами. Странно!

Но разве не мог я их сам начертить в бессознательном состоянии, хотя и не помню этого? Тогда откуда чернила? Чернильница давно пересохла от холода. Я хотел в досаде разорвать листок, но раздумал и, скомкав, засунул его в записную книжку.

Вечером, возвращаясь из города и увидев аптеку, я соскочил с трамвая на Ружейной площади. Аптека знакомая — я когда-то жил здесь поблизости. В окнах обычные большие стеклянные шары с таинственной разноцветной жидкостью.

Я долго ходил по тротуару, не решаясь войти, — стыдно, в каком глупом положении я окажусь, подав вместо рецепта календарный листок! Однако все же лучше несколько неловких минут, чем эта мучительная неопределенность.

В аптеке нет никого, один старичок-провизор возится в сторонке, пересыпая какие-то ядовитые банки с наклеенными черными черепами. Я нерешительно топчусь перед стойкой.

— Что вам угодно? — сухо покашливая, оглядывается на меня наконец старичок.

Вместо ответа я смущенно подаю ему календарный листок. Старичок надевает очки, томительно долго рассматривает кабалистические знаки, потом открывает толстую, похожую на талмуд, книгу и что-то шепчет над ней, перелистывая.

— Видите ли, я потерял рецепт, — извиняюсь я, — и принес эту записку на всякий случай, проверить, не

рецепт ли это, хотя и сам вижу, что это не рецепт.

Но старичок не обращает никакого внимания на мои извинения и роется в книге.

— Это стоит два рубля двадцать семь копеек и будет готово через четверть часа. Угодно подождать?

— Пожалуйста, — опешил я.

Пока готовится лекарство, я оглядываю аптеку. Меня поразило, что несмотря на сильный холод, стекла в окнах не замерзли и старичок-провизор даже не поеживается и расхаживает в белом халате.

Дверь звякнула, и в аптеку вошла молодая нарядная дама с ворохом мелких покупок. Она что-то спрашивает, платит из золотого ридикюля и выходит, обдавая издали духами и оглянувшись на меня из стекла двери с загадочной усмешкой.

Я взял лекарство и заплатил провизору три тысячи вместо двух рублей; он посмотрел на них с недоумением, протянул их мне обратно, но я только отмахнулся и побежал вдогонку за дамой.

На улице ко мне прицепилась какая-то нищенка.

— Подай, сынок, черненького хлебца старухе...

У этих голодных нюх, как у собак, откуда она узнала, что у меня в кармане черный хлеб? Я сунул ей на ходу кусок, и старуха забормотала:

— У, кормилец ты мой... Пусть на том свете родные за упокой твоей души молятся...

Сумасшедшая баба! Что она там мелет?!

Я иду в нескольких шагах за дамой и нюхом ловлю в морозном воздухе возбуждающий будуарный запах ее духов.

Удивительно, как это она, такая шикарная, прогуливается на морозе в летнем костюме! Не успеваю я пожалеть дамы, как она оборачивается, меряет меня высокомерным взглядом и исчезает в подъезде большого дома перед распахнувшим ей двери швейцаром.

Я не решаюсь следовать за ней и поворачиваю обратно.

Что за чертовщина! Аптека, где я только что был, не только заперта, но и заколочена снаружи. Пораженный, я начал дергать дверь.

— Тебе чаво тут надобно? — грубо окрикнул меня мужчина в овчинном полушубке, колющий у ворот дрова.

— Мне в аптеку надо пройти...

— Кака тебе тут аптека, мотри два года уж как заколочена. Отваливай подальше. Знаем мы вас — небось, доски у двери отодрать хочешь. А еще антилигент, пинснэ на нос нацепил...

## VI.

### Пассеистические пилюли

Кульбинские порошки оказались вовсе даже не порошками, а пилюлями — мелкими, как охотничья дробь, вроде пилюль железа, в желтом, похожем на далматский, порошке. На баночке наклейка с надписью от руки: «Пассеистические пилюли д-ра Кульбина».

Повертев склянку и понюхав, я не утерпел, чтобы не попробовать на язык одну пилюльку. Безвкусно, привкус как от металлической окиси. Лизнув, я испугался, не отравился ли, но потом успокоил себя: ведь если все, что было со мной, только галлюцинация (а в этом сомнения нет), то и эти дурацкие пилюли тоже ее еще не рассеявшаяся частичка и реального вреда от них быть не может.

Придя к такому заключению, я отважно проглотил одну пилюльку. А что если я покажу баночку кому-нибудь, например, хозяину-матросу — увидит он ее или нет? Но если он даже увидит ее, то где доказательства, что мне не кажется только, будто я их ему показываю?

Все же я пошел на кухню и подсел, заведя разговор, к хозяину, наводившему пилу, чтобы пилить к вечеру свои смоляные вонючие и мокрые балки с баржи.

— А знаете, мне вот доктор прописал лекарство — пилюли. Смотрите, какие странные, не знаю, принимать или нет?

— Плюньте вы на все пилюли, — пробасил хозяин, слегка покосясь на меня от зубьев пилы, так что я не понял, видел он мою склянку или нет. — Лучшее лекарство от простуды — это стопка чистого спирта. У меня остался сырец, автоконьяк. Давайте выпьем, пока жена не пришла. Тащите только на закуску вашу саратовскую быковину.

После нескольких стопочек автоконьяка, сильно отдававшего бензином и еще какой-то дрянью, я не удержался, чтобы не рассказать о моих галлюцинациях.

— Это от угара, — успокоил меня хозяин. — После автоконьяка еще и не то бывает. У нас в экипаже был кондуктор Злобин. Тот, как напьется, ему завсегда какая-нибудь чертовщина представляется. Раз, уже спали мы, слышим выстрелы, думали тревога, вскочили, бежим в комендантскую. Видим, сидит наш Злобин перед пустой бутылкой и жарит из нагана в угол. Насилу остановили. Что с тобой, спрашиваем. Он и рассказывает: сижу это я, говорит, за столом и пью, чтобы не задремать. Вдруг вижу — насупротив меня стоит покойный капитан первого ранга Фон-Старре. Зверь был, мы его промеж себя иначе как Фон-Стерва и не звали. Пойдешь к нему, бывало, на берег отпрашиваться, а он над тобой издевается, юродствует: «Спрашивайся у государя императора», — и показывает на царский портрет. И должен ты во фронт стать перед портретом и проситься в отпуск. Ну портрет, известно, молчит. «Вот видишь, — говорит, — не пускает, а коли сам царь не разрешает, то я и подавно не могу». Утопили мы его в Гельсингфорсе, — слышали, небось, про офицер-

скую школу плавания? Да, вот, значит, Злобин и рассказывает. Одет, говорит, весь с игопочки, при орденах, как бывало на царском смотре, и глядит на меня в упор, по-рачьи, красными глазами, словно вот сейчас гаркнет, сымет белую перчатку с правой руки, чтобы не замарать и поддаст снизу кулаком в скулу, почище зубодера. Я ему, говорит, и говорю: «Хоть ты и царский холоп и сволочь, но я теперь на тебя не сержусь. Давай выпьем за советскую власть». И протягиваю ему, значит, бутылку. Он ее взял и гаркнул: «Пью за нашего покойного государя императора Николая Александровича!» И хлоп всю бутылку на пол. Тут уж наш Злобин не выдержал и давай садить в него из нагана. Потешались мы тогда над его рассказом. Долго потом к нему приставали: «Скажи, как ты вместе с Фон-Стервой за царя пил...»

Приход хозяйки нарушил нашу беседу, и я поспешил обратиться на свою половину.

Меня мутило. Надо выйти проветриться и вообще пойти куда-нибудь вечером развлечься. Довольно одиночества и пустых холодных комнат, которые вызывают галлюцинации. Пойду на собрание «Цеха поэтов» на Почтамтскую, заночую же во Дворце искусств на Мойке.

## VII.

### На проспекте 25 октября

Из тумана, заливавшего бывший Невский, теперь проспект 25-го октября, выдвинулась темная колоннада Казанского собора с двумя бессменными часовыми — Кутузовым и Барклаем-де-Толли. Золотой купол растворился в сумраке и колонны кажутся руинами какого-то античного парфенона. Внутри несколько десятков молящихся сиротливо жмутся посредине перед тускло освещен-

щенным алтарем, придавленные рушащимся со сводов мраком. У воспетой Пушкиным гробницы Кутузова молится на коленях старенький военный в обтрепанной генеральской шинели. Вот и образ Николая-угодника, памятный мне по одной темной любовной истории, связанной с Гумилевым...

Выйдя из собора, я чуть не заблудился среди колонн — до того густ стал туман ноябрьский, никотинно-желтый, трудный для дыхания. В трех шагах ничего не было видно, и я продвигался по памяти, чуть не ощупью. Прохожих почему-то не попадалось, и мне стало жутко, как пехотинцу, оставленному в волнах газовой атаки. Сзади послышалось легкое позвякивание шпор. Я остановился, но никто не прошел мимо, и позвякиванье прекратилось. Странно! Неужели это звенело у меня в кармане? Но только я тронулся, звон шпор и легкие шаги послышались снова, еще отчетливей, еще ближе.

Я несколько раз, проверяя себя, останавливался и оборачивался: звон шпор и шаги замирали и раздавались снова, лишь только я начинал двигаться.

— Кто там? — окрикнул я, не выдержав и отступая к стене. — Отвечайте или я буду стрелять!

Ответа не последовало, и мой голос, заглушенный ватой тумана, прозвучал как чужой.

Постояв немного, крадучись и оглядываясь, я стал пробираться вдоль карнизов. Пройдя несколько фасадов, я приободрился: сзади никого не было. Но только я вышел на середину тротуара и ускорил шаги, снова послышалось легкое, догоняющее позвякиванье шпор.

Только бы перейти поскорей через Мойку — сейчас будет Дом искусств.

У Народного, бывшего Полицейского моста, я не удержался и побежал. Дорогу мне перегородил постовой милиционер. Обрадованный, я кинулся к нему и замер в ужасе... Под изогнутым подвесным фонарем, напоминающим фонарь похоронной процессии, стоял Гумилев.

Он пристально и строго смотрел на меня своими слегка разведенными вкось глазами на бледном, как гипсовая маска, лице. Я отскочил к чугунным перилам, к зубчатой черной доске и ухватился за два пробочных шара для утопающих, стараясь их отцепить, — сам не зная для чего, для того ли, чтобы броситься в воду, или чтобы защищаться ими. Гумилев, мягко звякнув шпорами, шагнул ко мне. Внутри у меня все заглодело, точно лицо мое накрыли белой маской с хлороформом и приторно сладкий противный запах замораживает улетающее сознание. И чувствуя уже обморок, я рванулся от спасательных шаров и крикнул далеким, отделившимся от тела чужим голосом, как в счете при хлороформировании:

— Николай Степанович, это ты?

Гипсовая маска его лица не покорибилась, но он протянул мне руку и сказал деревянно, глухо, отчетливо:

— Здравствуй!

От рукопожатия через перчатку в локоть мне ударил тупой штепсельный разряд электричества, а слегка прикоснувшиеся в дружеском поцелуе губы его были так плотно сжаты и сухи, что мне вспомнились стихи Ахматовой:

..... как мне любы  
Твои сухие розовые губы.

— Все были так уверены в твоей смерти, что даже служили по тебе панихиду. И, оказывается, ты жив. Правда, мне рассказывали...

Я торопливо говорил, боясь ужаса молчания. При моем упоминании о панихиде Гумилев поморщился, точно я сделал бестактность.

— Оставим это, — процедил он сухо, — поговорим о чем-нибудь более интересном. Ведь мы не виделись несколько лет. Ты свободен сегодня вечером? Тогда зайдем посидим в ресторане, а потом отправимся на собрание в «Аполлон». Извозчик!



Он вежливо пропустил меня сесть первым на пролетку. Из тумана навстречу нам вырастает толпа, мелькают лица, слышатся крики «ура» и трубы оркестра.

— А у Исакия что делается! — обернулся извозчик. — Вся площадь полна народу. Громят германское посольство и коней чугунных с крыши сволокли в Мойку. И чего радуются? Разве мало народу перепортят... Лихо прокатил, ваши сиятельства. Прибавить бы на чаек надо рублик.

Гумилев сунул ему серебряный рубль, и мы вошли в ярко освещенный шикарный ресторан. За столиком в зале я несколько успокоился — все же здесь светло и людно. Гумилев вынул бутылку из серебряной кадки со льдом и разлил вино по бокалам.

— Выпьем за самое дорогое для нас!

— То есть?

— Выпьем за поэзию и за стихи! — и он чокнулся со мной звонким баккара.

Вино сухое, золотистое и от него в меня льется беспечная веселость. Щеки Гумилева розовеют, глаза лучатся, и мне уже не кажется, что передо мною призрак. Я мучительно стараюсь припомнить, где и когда мы с ним так сидели?

— Мне о многом хотелось бы поговорить с тобой (голос у Гумилева стал мягче, не такой деревянный и глухой). Я тобой очень недоволен. Куда ты пропал как поэт после своей «Дикой Порфиры»? Писать стихи для себя, бросать их или прятать — разве это идеал поэта? Так делал Лермонтов, но не Пушкин. Поэт должен быть в центре литературных движений, на виду у всех бороться и отстаивать свою поэзию. Стихи должны быть так же действенны и влиять на читателей, как «Анчар» Пушкина на героиню «Затишья» Тургенева...

Я вдруг вспоминаю — да, да, вот так же сидели мы в июле четырнадцатого года. Я встретил его в Гостином

Дворе с только что купленными сапогами. Он поступил добровольцем в кавалерию, советовал идти и мне в авиацию, говорил, что и сам бы пошел, если бы у него не было с детства боязни высоты. И еще говорил уверенно, что непременно получит Георгиевский крест.

Да, на груди у него среди желтых аксельбантов и сейчас висят два солдатских Георгия.

Гумилев расплатился, и мы вышли. Нас опять везет извозчик, но на этот раз какой-то карлик, шляпа сидит у него, как у пугала, прямо на плечах и говорит он звонко по-мальчишески, как бы извиняясь.

— Тятеньку сегодня забрали на мобилизации, я заместо его выехал. — И неловко дергает вожжами, точно играя в лошадки.

Впереди что-то светлеет, и быстро надвигается, как выход из туннеля. Лошадь, пролетка, извозчик, Гумилев делаются прозрачными и исчезают, как туман. Тра-та-та-та, — слышится дробный грохот барабанов и топот тяжелых сапог по торцовой мостовой. И залихватски весело гремит духовой оркестр — «на последнюю пятерку». Вслед за лихо марширующими кадровыми гвардейцами, еще в штатском, не совсем уверенно попадая в ногу, шагают мобилизованные запасные. «Ура-а-а!» — несется с тротуаров. Толпа подхватывает меня и выносит на Дворцовую площадь, превратившуюся в людской муравейник. В зеленовато-голубом северном небе парит ангел Александрийского столпа и быстро-быстро, чуть не цепляясь за его победный крест, скользят небольшие легкие облачка. Гудят церковные колокола и гулко празднично, как в пасхальную ночь, раскатываются над Невой холостый пушечные выстрелы с верков Петропавловской крепости. В окнах Зимнего дворца что-то белеет. По толпе, как ветер, проносится шепот, знамена склоняются, головы обнажаются.

— Господи, господи! — всхлипывает рядом со мной бедно одетая старушка. — Вот так же и сына моего убили в японскую войну под Мухденем.

— Товарищи... братцы, — хрипло кричит взгромоздившийся на карниз здания генерального штаба немолодой уже рабочий. — Да разве же мы знали, что германцы так... Мы тоже со всеми... за Россию, значит.

Он выпивши, лицо у него красное, синяя блуза в масляных пятнах. Наверное, он оттуда, с заводских окраин, из-за Нарвской заставы или с Выборгской стороны, где еще несколько дней назад бастовали и опрокидывали вагоны трамваев, доходившие до центра с разбитыми стеклами.

Голова его с проседью. Может быть, он был здесь уже и помнит эту площадь перед Зимним дворцом девятого января.

Что же это, неужели прощенье и примиренье?..

Колокольный трезвон так полногласно радостен, пушечные салюты так гулко торжественны, толпа так восторженно наэлектризована и белые далекие призраки в окнах дворца кланяются так приветливо.

— Сполайкович, Сполайкович едет!..

И хлынувшая толпа отбросила меня к стене. Из медленно пробирающегося и тревожно гудящего автомобиля мелькает шитая золотом с плюмажем треуголка и улыбающееся горбоносое лицо сербского посланника. «Живио!» — перекатывается по площади.

С красной стены генерального штаба маячат огромные черные буквы манифеста:

«Божию милостью, Мы, Николай Второй, Император и Самодержец Всероссийский, Царь Польский, Великий Князь Финляндский, и прочая, и прочая, и прочая... В грозный час испытания да будут забыты внутренние распри. Да укрепится еще теснее единение царя с его народом и да отразит Россия, поднявшаяся как один человек, дерзкий натиск врага»...

В штукатурку над моим виском с визгом ударяет пуля. Дворцовая площадь пуста, в пасмурно-осеннем небе над Зимним дворцом колеблется буро-белый, выстиранный

дождями, выцветший, когда-то ало-красный флаг Февральской революции.

С Петропавловской крепости громяют выстрелы, но в них уже не торжество, а угроза и гнев. И, как эхо, гремят в ответ орудия с Невы.

От решетки Александровского сада к Зимнему перебегает, отстреливаясь от наступающей черной, серая цепь.

— Что вы здесь стоите, гражданин! Вас могут убить.

Рядом со мной две хрупкие фигурки: молоденький юнкер, брюнет с матово-желтым лицом, и черноглазая с кудряшками у козырька женщина-доброволец. Оба падают на землю и, щелкая затворами, стреляют. С угла Невского из-за штабелей дров выбегают матросы, передний в кожаной куртке хрипло кричит, командуя, и размахивает револьвером. Вскочивший юнкер пытается воткнуть в него штык, как на ученьи в соломенное чучело, но падает ничком от выстрела в упор. Женщина-доброволец, путаясь в длинной шинели, неловко, по-бабьи, бежит к Зимнему. Рослый белобрысый матрос с недоумением смотрит на меня светло-голубыми глазами.

— Чего ж ты копаешься с ним? Скорей кончай! — доносится хриплый окрик.

— Да они в штатском и без оружия.

— Тогда дай ему по загревку прикладом, чтобы не лез, куда не просят!

Кто-то сзади больно стучает меня по затылку, в глазах темнеет и черные буквы царского манифеста наливаются кровью, прыгают и рассыпаются по стене световым набором:

«Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского Совета... Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян!..»

### VIII. Вечер в «Аполлоне»

— Что же ты неходишь? — пробуждает меня от забытья глухой оклик Гумилева.

Мы стоим в темной подворотне перед поблескивающей дверной медной дощечкой с надписью «Аполлон», во дворе же сверкает электрическими буквами лампочек подъезд ресторана «Аполло».

Знакомая широкая белая с малиновым половиком лестница — сколько раз с волнением поднимался я по ней, чтобы застенчивым и неловким юношей жаться в сторонке от блестящего общества! Старые барские комнаты уставлены ампириной мебелью из карельской березы и увешены по стенам стилизованной графикой. Собрание уже открылось. Гумилев, раскланиваясь, звякая шпорами и целуя ручки у дам, проходит вперед, я же сажусь у дверей на первое свободное место. Ко мне подходит затянутый, расшитый золотом толстозадый лицеист и протягивает мне свою треуголку:

— Пожалуйста, выньте билетик.

Я вынимаю из лицейской треуголки, как в лотерее, маленький белый билетик, к счастью пустой, мне не придется читать стихи.

Неужели я пьян? Мною утеряно чувство перспективы, и лица и предметы то кажутся близкими, то уменьшаются и становятся далекими, как будто я попеременно смотрю с двух сторон, прямо и обратно, в стекла бинокля. Так же сдвигаются и события в искаженной перспективе времени...

Этот двухэтажный темно-красный особняк с балконом на Мойку, по соседству с тем домом, где умер Пушкин, избрал накануне войны Аполлон Мусaget для своего парнасского святилища. И как на дельфийский треножник, в папиросном дыму садился на председательское место верховный прорицатель с Таврической

Вячеслав Иванов, зажигая от электрической люстры над строгим момзеновским лицом и черным пасторским сюртуком нимб серебряно-золотых косм, и звучным медоносным тенором изрекал свой суд над поэтами, посвящая их в дионисийские таинства: *A realibus ad realiora*<sup>1</sup>...

Перед этим покрытым длинной скатертью столом, как перед ящиком фокусника, расхаживал, беспрестанно умывая сухим потирающим жестом руки, с горящими теософским наитием глазами, с чуть просвечивающей в каштановых волосах тонзурой, неистовый Андрей Белый, и мелом на доске, цифрами и чертежами вскрывал перед пораженными слушателями механику ритма. И казалось, что поэтическая алхимия раскрыта, что теперь уже каждый поэт сможет по этим кабалистическим рецептам изготавливать чистое золото поэзии. Но Андрей Белый уже умыл сухой астральной водой руки и, не чувствуя тяготенья, со скоростью бродячей кометы несется к дальней звезде новой философской системы... Только что вернувшийся из Италии Блок, отчеканиваясь на стене римским профилем и курчавой бронзой коротких волос, стоя, опираясь на спинку стула, неспешно, внешне бесстрастно трубил здесь глубоким грудным великорусским голосом «Равенну» и «Благовещение»...

Кто это там читает стихи? Неужели сам Блок?

Рожденные в года глухие...  
Мы дети страшных лет России...

Заостренный, крючковатый, как у оборотня из «Страшной мести» Гоголя, нос, примятые разившиеся, как на гипсовой маске с Пушкина, кудри, щетинистая отваливающаяся челюсть... Нет, это не Блок, это только страшная фотография с мертвого Блока блазнит у меня перед глазами!

<sup>1</sup> От реального к реальному (лат.).

Остановите, вагоновожатый,  
Остановите скорей вагон!.

Гумилев читает спокойно, обычным своим несколько напыщенным деревянным голосом, не вставая с места, не выпуская из пальцев закуренной папиросы, но под ложечкой у меня замирает и я крепко вклевываюсь в точеные ручки, точно подо мной не барское кресло ампира, а хрупкое сиденье рушащегося в аварии с неба самолета.

Велимир Хлебников!

Из угла угловато-неловко отделяется, ботая тяжелыми ботинками, долговязый, сутулый, небритый солдат в гимнастерке без пояса, с обстриженной под полевой номер головой. Таким я видел Хлебникова летом семнадцатого года, рядовым запасного полка из Царицина — начальство, придя в отчаяние от его полной неспособности к военной службе, не знало, что с ним делать и записало его «чесоточным».

— Будетлянами сделано новое великое открытие. Изобретен способ писать стихи из одних знаков препинания, — лепечет отрывисто, как телеграфный аппарат, отсчитывая слова, Велимир Хлебников. — Я сейчас прочту одно такое стихотворение... точка... тире... запятая... двоеточие... восклицательный знак... многоточие...

Прочитав свое стихотворение, Хлебников опять забивается в угол, рассеянно попыхивая солдатской махоркой.

Но что это за развязный белобрысый молодой человек в нелепо сшитой из церковной парчи куртке лезет непрошено на смену Хлебникову?

Приказчик из галантерейного магазина, одевшийся с шиком под Оскара Уайльда: цилиндр, лакированные туфли, белый жениховский галстук с рубиновой булавкой — нет, не галстук, а бинт вокруг шеи. Из бокового кармана парчевой куртки он вытаскивает бритву и размахивает ею, как камертоном.

— Рекомендуюсь, — сипит он лорингитным шепотом, — редактор «Петербургского Глашатая», Игнатъев...

И пробормотав еще несколько неразборчивых слов, захлебнувшись спазмой, сует бритву в карман и, поблуднев, хватается рукой за горло, где сквозь белую повязку проступает кровь.

Игнатъев... Игнатъев... Помнится, раз он подвез меня ночью в таксомоторе к «Бродячей собаке». Богатый купеческий сынок, эго-футурист, родители хотели его остепенить и женить, но он перед свадьбой нелепо и неожиданно покончил с собой, перерезав горло бритвой.

На середину комнаты выходит другой молодой человек, еще более развязный, с широким плоским лицом, в потертом пиджачке, без воротничка, в обшмыганных, с махрами внизу, брюках.

— Василиск Гнедов, сама поэзия, читает свою гениальную «Поэму конца». В книге под этим заглавием пустая страница, но я все же читаю эту поэму, — выкрикивает он и вместо чтения делает кистью правой руки широкий похабный жест.

Застучали отодвигаемые кресла, все встали. Два слушателя начали разносить на подносах чай и печенье. У стола Гумилев разговаривает с кем-то высоким и седым. Анненский! Старомодное, умное, с седеющими усами лицо, острый взгляд, в котором под привычной директорской сдержанностью блуждают озорные поэтические огоньки, профессорски ровный, с капризными нотками голос, сыплющий фейерверки афоризмов. Анненский щепетилен, как мимоза, чуть задень и весь сожмется, уйдет в себя, ведь ему все еще неловко, что он в пятьдесят лет начинающий поэт с двумя тоненькими книжечками стихов. И запрокинутая навзничь голова в зажиме крахмального воротничка на негнущемся, точно залитом гипсом позвоночнике, — так же прямо, не сгибаясь, спеша на ночной поезд, поднимался он на ступени Царскосельского вокзала и вдруг, не успев схватиться рукой за выключенное смертью



сердце, кокнулся затылком о камень и неопознанный лежал в морге, в сообществе подобранных на улице трупов...

— Пойдем, я познакомлю тебя с интересной женщиной.

И взяв под руку, Гумилев повел меня в соседнюю комнату. Он все такой же, непременно в конце вечера уединится куда-нибудь в сторонку с хорошенькой женщиной, поклонницей, под предлогом чтения ей своих новых стихов!

На диване сидит молодая дама, а перед ней стоят двое военных.

— Эльга Густавовна, — знакомит меня Гумилев, почему-то не назвав фамилию.

— Очень рада, — протягивает мне дама руку в длинной по локоть черной перчатке.

Та самая незнакомка, которую я встретил в аптеке на Ружейной! От неожиданности, пробормотав что-то, я, неловко ткнувшись носом, поцеловал ее руку.

— Знакомьтесь, — кивнула дама на двух своих кавалеров.

— Разве вы не узнаете меня? Мы встречались в Цехе поэтов, — обращается ко мне военный с забинтованной головой и с боевым малиновым темляком на шашке. — Александр Александрович Конге.

— Военмор Комаров, — коротко отрекомендовался безусый блондин с гладким через всю голову пробором, в черной морской форме с кортиком.

На стене над диваном висит рисунок тушью: на повороте узкой крутой лестницы четверо мужчин в черном спускают большой закрытый гроб.

— Вам нравится «blanc et noir»<sup>1</sup> Валлотона «Le mauvais pas»<sup>2</sup>? Очень выразительно, не правда ли?.. —

<sup>1</sup> Белое с черным (фр.) — особый графический прием.

<sup>2</sup> «Трудное место (спускающие гроб по узкой лестнице)» — известная гравюра французского художника Феликса Валлотона (1865—1925).

спросила Эльга Густавовна и поднялась с дивана. — Однако, все уже расходятся. Пора и нам! Конге и вас, Михаил... (Александрович, подсказал я) Михаил Александрович, мы можем подвезти на автомобиле. А вы, Николай Степанович?

Гумилев о чем-то тихо заговорил с Эльгой Густавовной, и я уловил одну только ее резкую английскую фразу, которую почему-то отнес на свой счет:

— It is useless. He is a man without aim or hope...<sup>1</sup>

Помещение «Аполлона» уже опустело. Мы выходим последними и садимся у подъезда все еще сверкающего ресторана «Аполло» в автомобиль. Гумилев, поцеловав руку Эльге Густавовне, бросил мне на прощание:

— Будь завтра в «Бродячей собаке» к двенадцати ночи.

Военмор Комаров сел за шофера и легкий «Ройс», бесшумно сорвавшись с места, мчится с Мойки через Дворцовую площадь по Миллионной на Марсово поле к казармам лейб-гвардии Павловского полка. Конге, распрощавшись, выскакивает и скрывается в подъезде.

— Не можете ли вы догнать и передать ему эту розу, которую я обещала, но забыла ему подарить, — попросила меня с улыбкой (значение которой я понял только потом) Эльга Густавовна. — Не бойтесь, вас пропустят. Мы подождем.

Я взял из ее руки помятую, отколотую от корсажа, пахнущую духами розу и прошел мимо неподвижного часового по лестнице на второй этаж. В зале с белыми колоннами и хорами горела паникадилом электрическая люстра, и под ней на высоких помостах стояли четыре цинковых закрытых гроба с изваяниями почетного офицерского караула. У крайнего справа гроба припала щекой к цинковому углу немолодая уже женщина в крепе — мать. Седой отец в черном сюртуке и двое детей,

<sup>1</sup> Это бесполезно. Он — человек без цели и надежды (англ.).

мальчик и девочка, с испуганными, не по-детски серьезными личиками, держат в руках зажженные восковые свечи. Старший брат Саша, на которого они смотрели с таким обожанием, недавно только приезжал с фронта и, смеясь, подбрасывал их на руках к потолку, и вот он вернулся назад, — говорят, он спрятался зачем-то в этом большом серебряном ящике. На крышке гроба — офицерская фуражка и шашка, а на длинной траурной ленте от металлического с фарфоровыми цветами венка золотится надпись: «Товарищи по полку... павшему геройской смертью... подпоручику... Александру Александровичу Конге».

Как будто сердце укололось  
О крылья пролетающих лет, —

вспомнились мне две строчки из стихов Конге, которые похвалил в Цехе Гумилев. Конге был убит на фронте летом 16-го года и привезен в запаянном гробу — здесь, в этой зале казарменной церкви был я у него на панихиде!

Я положил розу у гроба — от прикосновения к цинку по моей руке пробежала холодная дрожь и мне почудился проникающий и сквозь металл легкий тошнотворный душок тления.

Осторожно ступая, оглядываясь, вышел я на лестницу и выбежал мимо часового на улицу.

— Куда же вы? — окликнул меня насмешливый голос. — Разве вы не поедете с нами?

Стыдясь своего бегства, я сел назад в автомобиль, и мы мчимся по Троицкому мосту мимо особняка Кшесинской, мимо голубой бухарской мечети на Каменноостровский — Проспект Красных Зорь. Дорогой мотор звенит ровным ритмическим гулом, как музыкальная шкатулка, над радиатором, поблескивая, развеивает серебряный плащ полуобнаженная женщина — фабричная марка «Ройса». Струя ночного ветра, обтекая стекло перед шофером, бьет мне в лицо, я вдыхаю

запах женских духов, такой острый, волнующий в весеннем воздухе, и слышу ласковый, слегка насмешливый голос:

— Вы, наверное, устали после всех сегодняшних впечатлений и не будете иметь ничего против, если мы прокатимся на «Стрелку». Не зовите меня ради бога Эльгой Густавовной, зовите, как все мои друзья, просто Эльгой...

Эльгой! — отдается во мне сладкой музыкой ее вкрадчивый голос.

Что за чертовщина! Или я пьян, или у меня кружится голова, или военмор не умеет править и того и гляди размозжит нам головы о чугунные столбы трамвая! Один раз мне даже померещилось, что столб врезался в автомобиль и пролетел через сиденье между мной и Эльгой.

— Что с вами? Или вы не любите быстрой езды?

— Нет, но мне показалось...

— Что вам показалось?

Но тут уже не показалось... Впереди у костра грелся патруль. Один из красноармейцев вышел на середину улицы и поднял руку, давая нам знак остановиться, но автомобиль с разгону налетел на него, подмял и, не убавляя хода, промчался дальше. Я невольно вскочил и оглянулся назад. Только что перееханный красноармеец продолжал невредимо стоять среди улицы, как будто сквозь него пролетела струя ветра.

— Однако я считала вас более храбрым, — рассмеялась Эльга, приблизив ко мне почти вплотную огромные, расширенные атропином ночи зрачки.

Елагин остров. Голые черные деревья скрипят под ветром с моря. Зашипев покрывками, автомобиль остановился у края узкой береговой косы. Стрелка! Хорошо здесь в белые ночи, рядом с размечтавшейся спутницей, облокотясь на гранитный барьер под охраной двух каменных львов, игриво перекатывающих лапой шары, любоваться золотым размежеванием двух зорь, вечерней

и утренней, слушать щелканье соловьев с зеленых островов, смотреть, как стройно скользят по сиренево-опаловой воде, накрываясь мачтой, будто девушка с теннисной ракеткой, крылатые яхты.

Но сейчас на Стрелке мрачно, пустынно и глухо. Жалобный хруст в отчаянии заломленных к беззвездному небу сучьев, утопленнический плеск голодных волн, громящих ледяные глыбы и грозящих внезапным ночным наводнением...

— Смотрите! Смотрите! — схватила меня за локоть Эльга.

Черный горизонт над Кронштадтом рассекли два скрестившихся в поединке световых клинка.

— Это прожекторы с судов или фортов...

Но Эльга, чем-то напуганная, тянет меня к автомобилю.

— Скорей! Скорей! А то будет поздно...

Обратно мы едем через Крестовский остров. Эльга отодвигается от меня и молчит, чем-то взволнованная. Вот и Плуталова улица.

— Вылезайте скорей и до свиданья! Увидимся завтра в «Бродячей собаке». Возьмите монету, иначе вас не пропустят...

Эльга сует мне золотой пятирублевик, и «Ройс» исчезает за углом.

Уже светает. Железные ворота у дома, обычно открытые и ночью, заперты. На мой стук, громыхая цепью, отпирает незнакомый бородатый, похожий на мясника, дворник. Загородив проход, он как-то подозрительно нехорошо смотрит на меня и держит в правой руке под тулупом колун. Не вступая в подворотню, я отдал ему Эльгин золотой.

— Проходи, проходи скорей, барин, от греха...

Боком прошмыгнул я мимо. Откуда-то из квартиры запел петух. Оглянувшись, я увидел, что ворота распахнуты настежь и дворника при них уже нет.

## IX. A man without aim or hope

Почему мне врезалась так в память эта английская фраза, что я ощущаю ее почти физически, как ожог от хлыста или пощечину? Что, собственно, это значит по-русски? Человек без цели и надежды, то есть не имеющий никакой цели в жизни и никаких надежд на будущее. Неужели я стал таким? Тогда нет ничего сверхъестественного и непонятного в том, что неуправляемое волей и разумом мое темное подсознательное «я» пропускает через освещенный экран сознания бессвязные, смонтированные памятью, фантастические по своей путанице обрывки фильмов...

А ну их к черту, все эти страшные мысли! Так можно дойти до того, что пустишь себе пулю в висок или увидишь себя раздвоенным не только внутренне, но и внешне, увидишь своего двойника здесь же наедине с собой в комнате, как в большом зеркале, но только не имитирующего, а делающего свои собственные независимые движения. Несомненно, я болен. Разве обратиться к психиатру? А вдруг он засадит меня в психиатрическую лечебницу. Нет, уж лучше добраться домой. Может быть, психиатрия тут и ни при чем. Просто это последствия тифа или паратифа, который я переношу на ногах. Нужно только поскорей выбраться из этого мертвого города, из этой холодной угарной квартиры. Отправлюсь сегодня же за пропуском на обратный проезд. И еще — надо уничтожить эти проклятые кульбинские пилюли. Легко сказать — уничтожить! Как можно уничтожить то, что в действительности не существует и только мерещится больному воображению. Все-таки попробую, может что и выйдет.

Перед тем как зайти за пропуском, я сделал крюк с бывшей Дворцовой, теперь площади Урицкого, к Неве

и, выбрав место, где не было льда, бросил склянку в темную воду.

Я видел ясно, как склянка погрузилась в полынью, и с радостью прощупал пустой карман. Теперь только бы больше не вспоминать о ней и скорей, скорей за разрешением.

В здании бывшего министерства иностранных дел, теперь отдела управления Исполкома, разрешения на выезд выдавал суровый с виду, чернородый рабочий. Передо мною он наотрез отказал студенту сельскохозяйственного института и сокращенной со службы девице, желавшей поехать в Баку к родственникам.

— Никак не могу, товарищ. Сейчас нет каникул, и мы не можем потакать вашему институту, чтобы он давал студентам фиктивные отпуска по болезни для поездок за продуктами... И вам тоже не могу. Пусть бакинская биржа труда вызовет вас как безработную на место... Следующий! Ваши бумаги, товарищ...

Боясь отказа, я протянул свои документы.

Он внимательно их просмотрел.

— Возвращаетесь из командировки? Лито — что это за учреждение такое? Литературный отдел. Так. Мандаты в порядке. Приходите завтра в десять утра, получите разрешение...

Я сразу повеселел. Зашел на городскую станцию справиться, как достать билет. Город уже не казался мне таким мрачным. Даже погода разгулялась и в зимнем мглистом небе блеснуло ртутное солнце.

На набережной, неподалеку от того места, где я выбросил склянку, ко мне подошел какой-то смуглый молодой человек в синем демисезонном пальто и попросил дать ему прикурить. Подозрительно поглядывая на его пальто (уж очень оно похоже на мое украденное!), я рассеянно полез в карман за зажигалкой и вытащил вместо нее кульбинскую склянку.

— Делать нечего. Извиняюсь за беспокойство, — развязно раскланялся молодой человек, нехорошо как-то

рассмеявшись, словно подходил он вовсе не за огнем, а за тем, чтобы показать мне опять эти проклятые пилюли.

Веселость моя улетучилась, и я опять начал чувствовать смутное растущее беспокойство. Добравшись домой, я стал укладывать вещи и собираться к отъезду, потом пошел в кухню пить чай к хозяину-матросу. Никакой мысли о том, что я куда-нибудь выйду вечером, у меня не было и я собирался уже лечь спать, как вдруг неожиданно для самого себя в половине двенадцатого оделся и крадучись, потихоньку вышел на улицу. Меня знобило до дрожи, до лязга зубов, но не от страха, скорее это был какой-то сладострастный озноб развратника, отправляющегося распутничать. И только где-то в глубине сознания горели страшные слова: *A man without aim or hope!*

## X.

### Прокатный велосипед с Марсова поля

Трамвайная остановка на углу Каменноостровского и Большого не освещена и безлюдна. На другой стороне, врезаясь башенным фасадом в полукруг площади, жутко чернеет неостекленными пробоинами окон и воровски распахнутыми в ночь балконными дверями заброшенный пятиэтажный дом. На остальных четырех углах окна кое-где светятся, но так же редко, как и зажженные через два-три по линии панелей газовые фонари.

Собственно, чего я жду? Ведь трамвайное движение прекратилось в шесть вечера, а теперь скоро двенадцать. Все равно в «Бродячую собаку» вовремя мне не попасть, не лучше ли вернуться, улечься спать, а завтра утром выехать в Москву.

Со стороны Новой деревни послышался отдаленный



гул и заблестели слабые зарницы. Ночной рабочий вагон, исправляющий повреждения — разъездной электрический эшафот с вышкой, откуда двое монтеров бесстрашно сыпят из-под гуттаперчевых рукавиц зеленый и синий фейерверк. На прицепе — обыкновенный пассажирский вагон, только без освещения. Увидев, что на задней площадке решетка не задвинута, я вскочил на подножку. Медленно, изредка останавливаясь для починки проводов, катилась электрическая гильотина по безлюдной улице Красных зорь на Площадь Жертв Революции.

Около трибун копошились не то землекопы, не то плотники. Стоявший неподалеку броневик, борясь с черным пожаром ночи, выбрасывал насосом из шланга мощный поток света. Попав под ослепительную струю, я зажмурил глаза и отвернулся. Прожектор перекинулся по сухостю Летнего Сада и болотцу Лебяжьего канала и заиграл фиолетовым зайчиком по стенам Инженерного Замка.

Около задней площадки, почти касаясь pedalю подножки, мчался вынырнувший из-под прожектора велосипедист, тот самый, который недавно испугал меня ночью на Марсовом поле. Он слегка кивнул мне головой и, обогнав, скрылся впереди.

На углу Инженерной я спрыгнул с подножки; несмотря на тихий ход, меня так отшвырнуло в сторону, что я растянулся на четвереньки. С тупой болью в коленках и кистях рук поднялся я с мостовой и побрел к «Бродячей собаке».

Деревянная щитообразная дверь забита снаружи гвоздями, но распахнулась от первого же моего толчка. Медленно, пересчитывая зачем-то ступени (четырнадцать!), спустился я по деревянной лестнице в освещенную электричеством раздевальню, где в ожидании ночного съезда гостей торчали пустые, тесно уставленные вешалки с номерками. У прислоненного к стенке под зеркалом велосипеда возился на корточках смуглый

молодой человек в кожаной куртке и фуражке офицерского образца. Велосипедист с Марсова поля.

— А, это вы, — обернулся он ко мне, продолжая накачивать шину. — Николай Степанович уже ждет вас.

Он говорит со мной, как со старым знакомым, — где видел я его раньше, до встречи на Марсовом поле?

Подвал «Бродячей собаки» выглядел как обычно в 12 часов ночи перед съездом. На столиках, накрытых скатертями, стояли цветы: гортензии и гиацинты. На стойке у входа, как евангелие на аналое, лежала раскрытая толстая книга для автографов посетителей. Сколько известных имен, не только русских, но и иностранных, занесено в этот синодик: Верхарн, Поль Фор, Мари-нетти... У затопленного камина, протянув к огню ноги в офицерских сапогах со шпорами, сидел Гумилев.

— Присаживайся, — пригласил он меня, не меняя позы. — Я уже думал, что ты не явишься. Наливай себе вина.

Гумилев молча курит и задумчиво смотрит на пламя. Несмотря на жар из камина и выпитое вино, меня пронизывает сырость и озноб. На стенах яркой клеевой краской рябит знакомая роспись: жидконогий господинчик Кульбина сладострастно извивается плашмя на животе с задранной сверху штиблетой, подглядывая за узкотазыми плоскогрудыми купальщицами; среди груды тропических плодов и фруктов полулежит, небрежно бросив на золотой живот цветную прозрачную ткань, нагая пышнотелая судейкинская красавица. На лавке дремлет, свернувшись калачиком, подобранный где-то на улице живой символ «Бродячей собаки» — лохматая белая дворняжка, с которой гостеприимный, никогда не знающий ночного сна распорядитель кабаре, артист без ангажемента Борис Пронин, выпроводив последних гостей, совершает обычно свою раннюю утреннюю прогулку, чтобы потом завалиться, иногда тут же в подвале, спать до вечера. На эстраде в окружении попитров для нот стоит драгоценный эбеновый ящик

рояля, готовый распахнуть свои звуковые сокровища при первом же магическом прикосновении длинных виртуозных пальцев. Кажется, что вот-вот затхлый, отдающий застоялым ревматизмом прачек воздух подвала (раньше здесь была прачечная) дрогнет от всхлипа виолончели или выкрика читающего свои стихи поэта.

Черт возьми! Да здесь все по-прежнему, как будто я снова пришел сюда юношей. О, если бы можно было останавливать и переводить по черному циферблату лет золотые стрелки жизни так же легко, как стрелки карманных часов!

— Ты нам нужен, — прерывает мои воспоминания Гумилев, — но сначала для испытания мы хотим дать тебе одно ответственное и рискованное поручение. Оно потребует от тебя большой смелости и выдержки. Надеюсь, ты успешно выполнишь его и оправдаешь наше доверие. Леонид Акимович поможет тебе...

Велосипедист в кожаной куртке дружески протянул мне руку и многозначительно сказал:

— Мы с вами раньше здесь встречались, хотя и не были знакомы. Я — Каннегисер.

Каннегисер!.. Красивый, черноволосый, смуглый как араб юноша-поэт, которого я раза два видел здесь, в «Бродячей собаке». Неужели это он? Потертая кожаная куртка, зеленые галифе с обмотками и неуклюжие солдатские ботинки вместо шикарной визитки с платочком в кармашке, английских брюк в полоску и лакированных ботинок. Свалявшиеся под фуражкой смоляные волосы вместо тщательно прилизанного пробора, огрубевшее, обветренное лицо и казарменная выправка с остатками прежних лощеных манер. Каннегисер... с чем еще (я никак не могу вспомнить, с чем) связано это имя?

Каннегисер сел за столик и, чокнувшись, залпом выпил стакан красного вина. Он казался чем-то обеспокоенным и часто прощупывал оттопыренный карман. В каморке за эстрадой из помещения дирекции

завонил телефон. Гумилев вышел, потом вернулся и сообщил:

— Звонила Эльга Густавовна. Она просила передать тебе привет и желает успеха. Однако пора, скоро девять часов.

Неужели уже утро? Мне казалось, что со времени моего прихода прошло не более получаса. Впрочем, чем скорее я выберусь отсюда, тем лучше.

— Хорошо ли ты едешь на велосипеде? — спросил Гумилев. — Ведь это будет вроде гонки, только не по треку, а по улице. Леонид Акимович даст тебе все необходимые указания.

Мы чокнулись и выпили в последний раз за успех неизвестного, возложенного на меня поручения. Каннегисер дал мне надеть свою кожаную куртку и фуражку, потом вручил мне заряженный револьвер Кольта и запасные пули.

— Револьвер бьет хорошо, нужно только сильнее нажимать курок. Велосипед я взял напрокат на Марсовом поле, — вот вам на всякий случай и квитанция на залог в 500 рублей. Вам придется развить максимальную скорость. Передача большая, но цепь немного попорчена. В вашем распоряжении будет две-три минуты во время паники. Не теряйте ни секунды и катите прямо к дому № 17 на Миллионной. Велосипед бросьте в подворотне. Двор проходной, разделен на три части. Вот тут прачечная... Потом второй дворик... Перед третьим в левом углу темный коридорчик... Вы выйдете через него в парадный подъезд и оттуда прямо на набережную Невы. Там я вас встречу. Только не запутайтесь и не ошибитесь, как я... Смотрите, вот вам план двора...

Я рассеянно смотрел на то, что чертил на клочке бумаги химическим карандашом Каннегисер. Почему же они не считают нужным сообщить мне самое главное: в чем заключается само поручение. Что ж, так лучше. Я тоже не стану выпытывать, а просто сяду на велосипед и поеду к себе домой на Плуталову.

Мы вышли из подвала. Уже рассвело, но площадь по-ночному безлюдна.

— Садитесь, — скомандовал Каннегисер, держа велосипед за руль, как конюх под уздцы норовистую лошадь. Я сел на велосипед. Каннегисер бегом покатил его, придерживая за руль и седло, потом оттолкнул и выпустил, как хвост аэроплана, крикнув мне вдогонку:

— Не забудьте. Дом № 17 на Миллионной. Около Мошкова переулка.

Велосипед свернул влево на Инженерную и понесся вдоль канала мимо пряничного собора на месте убийства Александра II к Марсову полю. Педали вращались, как шестерни, захватывая мои ноги. Руль не поворачивался и велосипед мчался, как вагон трамвая по невидимой колее, окончившейся только у подъезда темнокрасного здания на Дворцовой площади перед Триумфальной аркой генерального штаба. Я едва успел соскочить на тротуар, велосипед подпрыгнул и откатился к стене. Машинально вошел я в подъезд и сел на низкий подоконник направо, чего-то ожидая. Мне казалось, что я тоже двигаюсь по невидимой колее и действую, как заведенный манекен. Сквозь полуоткрытое окно виднелся руль и переднее колесо велосипеда, я мог бы даже дотронуться до него рукой. И все же я беспокоился, мне казалось, что если велосипед пропадет, то со мной случится какое-то страшное несчастье. Почему-то меня беспокоила также чугунная решетка в восемь прутьев: окно почти вровень с тротуаром и без нее так легко можно было бы выскочить наружу и скрыться на велосипеде... В тесном сводчатом вестибюле старого здания царского министерства, занятого революционным комиссариатом, все еще веет насиженным столетним канцелярским покоем. Центральное место занимает большая, до потолка, кафельная печь. За ней, влево, виднеется темная лестница с шахтой грузовой подъемной машины. Вход, чтобы не выпускать тепло, двойной, крытый, вроде беседки. Вдоль стены тянутся не скамейки, а низкие

старинные лари. Солидно, не торопясь, бьют министерские часы, привыкшие годами ежедневно проверять свой ход по пушечному выстрелу с верков Петропавловской крепости.

Рослый швейцар из старых гвардейцев, еще не потерявший своей важности, в ливрее с потускневшими серебряными галунами, заботливо расправил смятый затоптанный половик. Направо от меня на ларе сидит пожилая дама в старомодной накидке и шляпе с лиловыми цветами и испуганно смотрит на меня вытаращенным глазом, — другой, правый, закрыт у нее черной повязкой. Швейцар попросил ее привстать, открыл ларь и засунул туда щетки, посмотрел на меня, как бы собираясь что-то спросить, но ничего не сказал и отошел к двери. Часы показывали без пяти минут одиннадцать. К подъезду подкатил автомобиль.

— Давай подъемную машину! Товарищ Урицкий приехали! — крикнул кому-то вверх швейцар и распахнул двери. Я вскочил с подоконника. Мимо меня быстро прошел невысокий бритый человек в пенсне, в серой фетровой шляпе и летнем пальто. опережая его, швейцар пробежал в простенок за печью, к лифту. Вдруг на правым ухом у меня грянул оглушительный выстрел: чья-то чужая рука сзади выхватила у меня из кармана револьвер и, выстрелив, сунула его обратно.

В трех шагах от меня у стены, ничком на каменном полу неподвижно лежал человек, только что подъехавший на автомобиле. Обращенный ко мне правый глаз его кровоточил, как вскрывшийся чирий. В фиолетово-алой лужице в выбоине широкой плиты блестело осколком разбитое пенсне на цепочке, рядом валялись портфель и шляпа. Пожилая дама в накидке металась и визжала, закрывая руками повязанный глаз. Швейцар несколько секунд, так же как и я, неподвижно стоявший около убитого, вдруг закричал и побежал вверх по лестнице. Со второго этажа заботали по ступеням тяжелые сапоги.

Я выбежал наружу и вскочил на велосипед. Шофер, возившийся у автомобиля и за шумом мотора не слыжавший выстрела, не обратил на меня внимания. Велосипед понесся наперерез через площадь к Неве. Около Зимнего дворца, на повороте я оглянулся: у автомобиля суетились люди, за мной готовилась погоня.

Резко, как пастушеский кнут на выгоне, хлестнул выстрел из винтовки: стреляли или в меня, или вверх, давая предупреждение остановиться. Я еще ниже нагнулся к рулю и налег на педали. На Миллионной велосипед понесся быстрее по торцам и перелетел по горбтому булыжному мосту через Зимнюю Канавку. Ветер свистел у меня в ушах, и сердце колотилось учащенно и гулко, как подвесной двигатель к велосипеду. Сзади заревел автомобильный гудок. Прячась от обстрела, я старался держаться почти вплотную к тротуару левой стороны. Только бы успеть добраться до дома № 17... Но как разглядеть номер при такой гонке... Если же замедлить ход, то все пропало... Но велосипед сам свернул на тротуар и проскочил в открытую подворотню. Я бросил его в закоулке у водосточной трубы и побежал, забыв про все наставления Каннегисера, на черную лестницу направо. Поскорей сбросить с себя эту проклятую кожаную куртку убийцы и его офицерскую фуражку, тяжелую, как стальной шлем!

— Что вы наделали? — нагнал меня Каннегисер. — Ведь я же вам объяснял, что двор проходной. Вы повторили мою ошибку. Вот ваше пальто и шапка. Скорее переодевайтесь... Мы еще успеем выйти на Неву... Ах, черт, они уже на дворе...

Сквозь пыльное, закрытое по-зимнему двойное окно площадки я увидел во дворе двух красноармейцев — один из них поднимал брошенный велосипед.

— Сюда, за мной... Мы пройдем через парадную лестницу...

Каннегисер шмыгнул в открытую кухонную дверь и, на ходу надевая в рукава захваченную с вешалки солдат-

скую шинель, провел меня через чью-то богато меблированную квартиру на парадную лестницу.

— Оставайтесь здесь... Вас они не тронут. Они примут меня за красноармейца. Я проскользну на улицу и скроюсь...

Каннегисер тихо сошел по лестнице, внизу загремели выстрелы. Я бросился к двери той квартиры, откуда мы только что вышли, но она оказалась закрытой. Тогда я побежал на верхнюю площадку и спрятался в углу за лифтом.

Выстрелы прекратились... А, может быть, и правда меня не тронут? Ведь я тут, действительно, ни при чем. Надо только уничтожить все улики. Осматривая карманы, я нащупал склянку, вспомнил про пилюли и проглотил одну, запив накопленной слюной. На площадке внизу звякнула дверная цепочка и затараторили женские голоса.

— Голубушка, Матильда Иосифовна, скажите, что сегодня выдают по хлебным карточкам?

— Мари мне сказала, что на два дня, на субботу и воскресенье, будут выдавать по первой категории по четверти фунта хлеба и две штуки сельдей.

— А по третьей категории?

— А по третьей только две штуки сельдей.

— Ах, господи, опять эта вонючая селедка и ни кусочка хлеба!

На лестнице стало тихо, только слегка пахнет порохом. Я заглянул через перила в широкую, в несколько раз больше лифта, шахту. Никого. Даже женские голоса стихли. Осторожно, по стене спустился я на вторую площадку. Вот и дверь, откуда мы вышли — квартира № 2 и на медной доске: «Князь Меликов». Постояв, я решительно спустился вниз, к мраморному камину со старым трюмо... Однако какое у меня бледное и страшное лицо!

У подъезда в автомобиле, окруженный конвоем красноармейцев с винтовками, стоял Каннегисер.



Он держался уверенно, спокойно и на его смуглом разгоряченном от бега лице сквозил румянец. Однако, когда он посмотрел на меня пустым, ничего не фиксирующим взглядом, я заметил, что он жадно, как рыба, выхваченная на берег, ловит ртом воздух.

— Давай сюда велосипед! — крикнул из автомобиля резкий голос.

Один из красноармейцев поднял на руки велосипед и вскочил с ним на подножку.

— Гороховая, два, — скомандовал тот же голос, и автомобиль тронулся, протянув в воздухе голубую стартовую ленту газолинного дымка.

Меня никто не задержал, и я вышел на Марсово поле, где мне преградила дорогу толпа. Протиснувшись вперед, я взобрался на тумбу и увидел огромную площадь, всю вымощенную булыжником человеческих голов и усаженную алыми клумбами траурно-красных знамен. У деревянных трибун, где колыхались штыки и сияла медь оркестров, стоял черный катафалк с красным гробом. Над притихшей толпой, откуда-то издалика, как из граммофона, доносился высокий теноровый голос.

— Кто это говорит, товарищ? — спросил я стоявшего рядом матроса с оборванной Георгиевской лентой гвардейского флотского экипажа.

— Зиновьев! — ответило мне сразу несколько голосов.

На виноградном, желто-зеленом фоне Летнего сада четко выделялась коричневая курчавая голова оратора с пухлым бритым, как у оперного артиста, подбородком. Приятный, звучный, слегка сиплый от натуги тенор нараспев выбрасывал отрывистые разреженные слова. До меня долетали только отдельные фразы:

...Вслед за убийством Урицкого было покушение на льва рабочей революции товарища Ленина... Раненый лев рабочей революции борется со смертью... Буржуазия и все, что стоит на пути рабочей революции, должно быть стерто с лица земли...

— Смерть им! — во всю глотку заорал стоявший рядом со мной матрос, и крик его тысячеголосным эхом прокатился по площади.

Красный гроб на минуту всплыл над трибунами и исчез среди красных полотнищ склоненных знамен. Тугой пушечный выстрел, ударяясь о стены, прокатился по коридорам улиц. Второй... третий... Салют с верков Петропавловской крепости.

Я соскочил с тумбы. Голова у меня горела и кружилась, мне хотелось одного — поскорей выйти к Неве и намочить носовой платок, как компресс, в студеной Ладожской воде.

## XI.

### От «Мадонны» Рафаэля к силуэту тени на стене

Тифозный психоз, раздвоение личности, шизофрения — неважно, как называется моя болезнь — несомненно одно: она быстро прогрессирует. С каждым новым припадком галлюцинации становятся ярче, нелепей и мучительней. Если болезнь будет развиваться таким темпом, то вскоре я не буду в состоянии выехать без посторонней помощи. Последняя галлюцинация так напугала меня, что я решил немедленно уехать. Отчаяние придало мне энергию, и я в один день достал и разрешение на выезд и билет. С билетом в кармане я приободрился и повеселел. Пообедал напоследок досыта в Доме литераторов — все равно завтра еду и экономить нечего. На Литейном напротив Бассейной я заметил знакомую металлическую дощечку у подъезда: «Доктор Погорельский».

Жив ли еще этот старый чудак, ученый талмудист, доктор по нервным, внутренним и венерическим болез-

ням, гипнотизер, автор книг о животном магнетизме, о сифилисе у древних евреев и об одной из «Мадонн» Рафаэля, случайным обладателем которой он себя считал?

Я поднялся на второй этаж и позвонил несколько раз. Звонок ясно слышен, в квартире как будто даже играют на рояле, но мне никто не отпирает. Я уже собирался уйти, как вдруг за дверью послышался стариковский отхаркивающий кашель и в щели за цепочкой показался сам доктор Погорельский, коротконогий плотный старичок с седыми усами и квадратной татарской головой. Он вопросительно смотрел на меня поверх очков, спущенных на кончик носа.

— Что вам угодно?

Я извинился за беспокойство и напомнил о себе.

— А, это вы. Пожалуйста, пожалуйста...

Лицо его сморщилось и изобразило подобие любезной улыбки.

— Посидите здесь минуту, я сейчас вас приму.

И, шаркая войлочными туфлями, он прошел в свой кабинет, оставив меня в большом холодном зале с мебелью в чехлах, с картинами, обернутыми в бумагу, и с двумя занавешенными трюмо. Один только огромный рояль стоял в углу открытый, как будто на нем недавно играли. Однако черная лакированная крышка серела налетом пыли, раскрытые ноты пожелтели, как книги, долго стоявшие в витрине.

— Пожалуйста.

В углу кабинета по-прежнему стояла машина для электризации, а напротив, над кожаной кушеткой, на которую ложились для осмотра больные, и над грязным мраморным умывальником, в ведро которого старый неряха-доктор бросал гнойную вату и выливал мочу из пробирок, висела «Мадонна» Рафаэля. С легкой улыбкой на тонких губах она смотрела мечтательными прекрасными глазами одновременно и на зрителя и на золотокудрого младенца, прильнувшего к ее стыдливо и

гордо полуоткрытой среди красной одежды девичьей груди. Сколько несчастных с язвами и гнойниками, со страшным ядом в крови, ждало здесь исцеления и над ними так же радостно сияла в петербургских сумерках символом блаженного материнства итальянская Мадонна!

— Вы пришли ко мне за советом? Вы больны, страдаете галлюцинациями?

И выцветшие старческие глаза гипнотизера-доктора испытующе хищно, чуя добычу, вклевчились в меня из-под седых лохматых щеток бровей.

— Да, — растерялся я от неожиданного вопроса, так как вовсе не думал говорить о своей болезни.

— Скажите, вы не были контужены или отравлены газом на фронте? Нет... Не было ли у вас тифа? Иногда после него бывает психоз, поражение мозговых центров... Впрочем, вы всегда были неврастеником... Практикой я, к сожалению, теперь уже не занимаюсь... Но не беспокойтесь. Я вылечу вас заочным гипнотизмом. Пришлите только мне свою фотографическую карточку... Я сейчас как раз пишу большой научный труд «Психозы революции»... Вот посмотрите...

И он разложил передо мной целую серию портретов революционных деятелей и стал объяснять, как посредством колебаний золотого чувствительного маятника он учитывает излучение их магнетизма. Несомненно, старик немного тронулся. Он уже раньше, доказывая подлинность своей «Мадонны» Рафаэля, доходил до абсурда и прибегал к криптограммам и к качаниям золотого маятника. Потертое обручальное золотое кольцо, подвешенное на шелковой нитке к короткому толстому старческому пальцу, дрожало и вычерчивало какие-то эллипсы и круги над разложенными по столу портретами. Старый маньяк тут же заносил их на бумагу и измерял, как пути небесных светил в сложных астрономических вычислениях.

Рассеянно слушая его объяснения, я взглянул на

Мадонну: в ее глазах и усмешке мне почудилось что-то недоброе, джиокондовское.

— Извините, доктор, мне нужно идти.

Он не стал меня задерживать, проводил, шлепая туфлями, до передней и выпустил на лестницу, где я вздохнул свободней. На трамвае доехал я до Сенной и прошел на Вознесенский. Только тут сообразил я, что попал сюда не зря и что мне кого-то нужно. Конечно, ведь здесь где-то жил Кульбин, я у него был, и он выдал мне медицинское свидетельство для поступления вольноопределяющимся в артиллерию.

Я долго искал по памяти улицу и дом, пока в одном из этажей напротив за стеклом не мелькнул голый череп Кульбина и его поднятый иглой громоотвода указательный палец. Безотчетно повинувшись этому указанию, я вошел на лестницу и увидел на медной дощечке надпись:

*Доктор медицины*  
*Приват-доцент Военно-Медицинской Академии*  
 Николай Иванович  
**КУЛЬБИН**

— Пожалуйте, пожалуйста, батенька. Можете не раздеваться, температура у меня достаточно прохладная, — засуетился, встречая меня в передней, Кульбин.

Сам он был одет, как и тогда ночью, в китель хаки и в синие брюки с красными лампасами, и страшно пахнул йодоформом. И как и тогда, его лысый череп и желтое румяное лицо казались набальзамированными.

Кульбин провел меня в свою мастерскую и стал, суетливо разглагольствуя, показывать свои картины, в которых чувствовалась какая-то острота не то талантливого шарлатана, не то убежденного маньяка.

— Вот, дорогой, мое последнее изобретение. Живопись на полированном серебре. Смотрите, как играют краски от внутреннего освещения! Вот этот мазок,

совсем рубин, капля крови... Да что с вами, дорогой мой? У вас, я вижу, душа в пятки ушла. Ай, ай, нехорошо. Вы этак, пожалуй, в обморок упадете...

Кульбин пристально в упор посмотрел на меня и в глазах его на секунду промелькнуло что-то большое, загадочное, мурашками зарябившее у меня вдоль позвоночника.

— Пора вам, батенька мой, знать, что слово «смерть» так же устарело в науке, как и в поэзии его рифма «твердь». Все эти дуалистические понятия и слова — жизнь, смерть, душа, тело — пора выбросить, как негодный хлам и заменить новыми. Об этом я на днях буду читать публичную лекцию. Милости прошу послушать. Могу записать на афишу в число оппонентов...

И точно шулер, на глазах перекинувший карту, Кульбин увернулся от прямого ответа и впал в обычное шутовство.

— А зачем же вы, Николай Иванович, прописали мне эти проклятые пилюли, от которых я никак не могу избавиться?

— А затем, молодой человек, — вдруг рассердился Кульбин, — что это нужно для вашей же пользы. Вы больны модной интеллигентской болезнью — раздвоением личности, и чтобы излечить вас от этого недуга, прописал я вам свои пилюли. И я вам советую, милостивый государь, слушаться меня, как врача, и пройти полный курс лечения. И еще также советую вам для вашей же пользы, не задавать глупых вопросов, а лучше, пока еще ходят трамваи, отправляться домой. Ведь вы, думаю, не захотите заночевать у меня?

И опять впадая в благодушный тон, Кульбин засуетился, пожимая мне на прощанье руку и приглашая непременно принять участие в диспуте на его лекции.

Уже смеркалось, когда я, пройдя Биржевой мост, остановился на Александровском проспекте перед домом, где раньше жил. Мое окно, первое от ворот в нижнем

этаже, светилося. Я хотел заглянуть внутрь, но кто-то ударил меня сзади по плечу. Вздвогнув и обернувшись, я увидел улыбающееся, бритое с бакенбардами лицо художника Георгия Нарбута.

— Айда ко мне в гости. Я теперь живу один холостяком. Угощу глуховской запеканкой.

Он подхватил меня под руку и потащил во двор соседнего дома.

Квартира Нарбута и он сам остались такими же, как накануне войны. Обои, мебель из красного дерева и карельской березы, канделябры для свечей, все до мелочей было с хохлацкой домовитостью подобрано хозяином-художником в стиле александровского ампира. Рядами стояли яркие глиняные и деревянные замысловатые кустарные игрушки, а один из столов был покрыт восточной московского изделия скатертью с желтыми павлинами на зеленом фоне.

На лежанке у жарко натопленной печки дремал большой черный кот. В комнатках было тепло и по-старинному уютно. Да и сам Нарбут с бритым лицом, с бакенбардами, с хохлатым лысеющим лбом казался выходцем с гравюр двадцатых годов.

Он достал из красного пузатого шкафчика хрустальный графин с наливкой и серебряную стопку, налил мне, но сам пить отказался.

— Не могу. Камни в печени...

Лицо его, действительно, желтело желчным налетом.

Потом стал показывать мне свои последние рисунки — иллюстрации к стихотворению брата «Покойник». Низенькие уютные комнатки старосветской гоголевской усадьбы, куда вдруг вечером пришел с погоста покойник-барин в николаевской шинели с бобровым вылезшим воротником; испуганно коробящийся на лежанке кот (тот самый, что дремал у печки); старушка-барыня в тальме перед столиком со свечами, в ужасе откинувшаяся от пасьянса при виде разглаживающего бакенбарды и галантно щелкающего каблуками покой-

ника-мужа; дворовая дебелия девка, подметающая утром комнаты и выбрасывающая околыш от баринова картуза. Рисунки были сделаны тушью с сухим и жутким мастерством.

Мы стояли посреди комнаты у стола и наши фигуры бросали горбатые тени на стену.

— Стойте, — спохватился Нарбут, — я сниму с вас силуэт. Не бойтесь, ваша тень от этого не пропадет, как у Петра Шлемиля...

Подведя меня к стене и поднеся лампу, он обвел на месте бумаги контуры тени и быстро набросал тушью уменьшенный силуэт моего профиля.

Глуховская наливка оказалась такой густой и крепкой, что я скоро захмелел. Много и оживленно о чем-то говорил. Нарбут сидел молча у стола и расписывал какие-то украинские гербы, потом вышел со свечой проводить меня на темную лестницу.

По улице я шел, слегка покачиваясь. У фонарей несколько раз останавливался и смотрел, не пропала ли моя тень. Но тень была цела и невредима, с головой и шапкой. Все же я сожалел, что разрешил снять с себя силуэт и даже не захватил рисунка.

## XII.

### Карета скорой помощи

До отхода поезда оставалось три часа, но я уже увязал свой багаж и распростился с хозяевами, отдав им в благодарность за гостеприимство кусок быковины и восковой кружок деревенского топленого масла. Лучше подождать час, другой на вокзале. Как хорошо: через несколько минут эти нежилые холодные комнаты и все, что я в них пережил, станут только воспоминанием, а через три часа маркой тушью Колпинских труб



сотрется с тусклого горизонта измучившее меня галлюцинациями мертвое петербургское марево.

Осматриваясь в последний раз, не забыто ли что-нибудь, я подошел к окну. По свежевывавшему за ночь снегу быстро катился черный крытый автомобиль: карета скорой помощи. Сквозь двойные рамы донесся пронзительный тревожный рожок. Карета остановилась у ворот и из ее задка вылезли двое санитаров с носилками. Несчастный случай в доме, отравление газом или еще что-нибудь... Связав корзинку и узел веревкой, как носильщик, я вскинул поклажу на плечи — до трамвая придется донести самому. В коридоре шаги и стук — наверное хозяин притащил вязанку дров. В портъере, загораживая мне выход, просунулся по пояс невысокий человек с бородкой, в белом халате, в пенсне, вероятно, врач или лекпом; сзади него в коридоре стоят двое санитаров с носилками. Но почему же он не входит и стоит на пороге, прикрываясь портъерой, как плащом, застегнутым зажимом пальцев? И взгляд маленьких глаз у него пристальный, неприятный и голос резкий, петушиный...

— Где здесь пострадавший? Это вы?

— Нет, — хотел было я ответить, но почувствовал вдруг такую слабость, что спустил с плеч веревку и сел на узел с подушкой.

— Вам нехорошо? Понюхайте...

Поддерживая ладонью, он закинул назад мою голову и поднес мне к носу, неловко стукнув по зубам, темно-желтый флакон. Пронзительный, как нашатырный спирт, сладостный до тошноты, как хлороформ, запах перехватил мне дыхание, мгновенно замораживая все мускулы и нервы.

— Кладите на носилки... Осторожней... Чтобы голова не болталась...

Я слышал разговор хозяйки на кухне, крики играющих на дворе в снежки детей, хотел дать им всем знать, чтобы не позволяли уносить меня насильно, но не мог пошевелиться, не мог издать ни одного звука. На

повороте крутой черной лестницы носилки накренились, и я пополз вниз, но кто-то ухватил и удержал меня за ноги. Мне стало вдруг смешно: совсем как на рисунке Валлотона — названия я вспомнить не мог. Раз... раз... раз... ботали по каменным ступеням шаги санитаров. Белый ровный блеск: меня вынесли на улицу, но разницы температуры я не заметил, как будто это искусственный снег из ваты и блесток. Но когда носилки подняли и, как противень в печь, стали засовывать в черный под кареты, я перепугался. Мне почему-то казалось, что я в крематории и меня сейчас задвинут для кремации. Загудел рожок и от страшного жара я потерял сознание...

Скрежещущий гвоздем по стеклу автомобильный рожок сменился тихим рокотом рояля. Грудное меццо-сопрано поет, как лирический тенор, вполголоса, нежно. Что это за знакомая песня? Да ведь это же лермонтовское:

Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,  
 Про любовь мне сладкий голос пел,  
 Надо мной чтоб вечно зеленея  
 Темный дуб склонялся и шумел.

Пение оборвалось, хлопнула, отдаваясь эхом арфы, крышка над клавишами, и высокая женщина наклонилась и освежила мне одеколоном лоб и виски. Сиделка, но почему она не в белом, а в черном? Лицо ее совсем близко и длинные пальцы осторожно приподнимают мне полузакрытое веко... Эльга!

— Вы очнулись, слава богу! Я уже думала, что вы не придете в себя.

Эльга приподняла тяжелую свинчатку моей головы вместе с подушкой и дала мне выпить рюмку душистого крепкого вина.

— Вот так... Теперь лежите смирнехонько.

Улыбаясь, она обтерла мне своим носовым платком, как слюнявочкой ребенку, губы и подбородок — половину вина, захлебнувшись, я разлил себе на грудь.

Какая странная комната. Не то приемный покой, не то гостиная. Гладкие беленые стены и потолок, электрический матовый свет, накрытый белым длинный стол посредине, кожаная черная кушетка, окна наглухо занавешены темными шторами в волнистых воланах. А в углу большой эбеновый эстрадный рояль... Мне лучше, и я могу приподняться и сесть.

— Осторожней. Не ходите и не говорите много. Садитесь лучше в кресло и слушайте музыку...

Эльга пододвинула мне английское кожаное кресло и стала играть сначала Шопена, потом Скрябина. Охваченные внезапным шквалом клавиши тревожно-гневно бились и бурлили, как будто им не хватало тех новых созвучий, которых властно требовал обезумевший композитор. Вдруг музыкальный шторм, как тревожный вопль пароходной сирены, прорезал автомобильный рожок скорой помощи. Почувствовав снова дурноту, я отдернул руку и в ту же секунду отдернула руки от клавишей и в ужасе отскочила от рояля Эльга.

Пуля от винтовки, пробив звено, ударила в клавиатуру и расщепила одну из клавишей.

— Если вы желаете пользоваться моим гостеприимством, то должны держать себя более благоразумно. Смотрите, что вы наделали! Вы не только испортили рояль, но и чуть не сделали меня беспалой...

И Эльга подняла свою левую руку: длинный розовый полированный ноготь мизинца обломался и слегка кровоточит.

### XIII. П. Б. О.

— Все твои возражения необидительны. Конечно, я не хочу преждевременно вводить тебя активным членом

в П. Б. О., но ты должен ознакомиться с нашими целями и задачами...

Гумилев говорит медленно, делая небольшие цезуры пауз, отчеканивая глухим торжественным голосом каждое слово. Серые косые глаза его, как у портрета, смотрят куда-то мимо, в сторону, но все время держат меня в поле своего неуловимого взгляда. Я виновато и смущенно слушаю, как начинающий поэт, принесший ему стихи на строгий высокомерный суд в редакцию «Аполлона». Неторопливо вынимает он из кармана золотой портсигар и, постукав по крышке папиросой, закуривает. В табачном дыму мизинец его магически поблескивает крупным перстнем и длинным когтистым ногтем, совсем как «Помпей в плену у пиратов»:

И над морем седым и пустынным,  
Приподнявшись лениво на локте,  
Посыпает толченым рубином  
Розоватые длинные ногти...

Гумилев упрям и его не переспоришь, хотя он по-прежнему плохо разбирается в политике. Даже тогда, при первом знакомстве, признавая его авторитет в вопросах поэтических (недаром он еще на гимназической скамье был учеником Анненского), я поражался его политической неграмотностью. За глухие стены привилегированной царскосельской гимназии не проникали революционные кружки самообразования и подпольные организации молодежи. А потом редакция «Аполлона» и лейб-гвардии уланский ее величества полк. Ему бы уехать куда-нибудь в экспедицию, с Козловым в монгольские пустыни на поиски мертвого города Хара-Хото...

— Поедем на собрание. Неужели ты покинешь своего синдика?.. — шутливо закончил Гумилев, намекая, что в Цехе поэтов его в шутку называли синдиком.

Я стал решительно отказываться, но он, не слушая моих возражений, поднялся и взял меня под руку.

— Решено... Мы едем...

Голубой, как небо Бухары, изразец на куполе недостроенной мечети, а напротив двое чугунных матросов с затонувшего миноносца «Стерегущий», задрав за собой горловины, открывают кингстон, в дыру которого хлещет бурым металлом желтое Китайское море. Налево от моста Равенства — громоздкий несуразный дом на пустыре, бывший дворец Николая Николаевича. У развороченного гранитного борта набережной стоят на причале барки. Среди штабелей выгруженных дров у костра греется охрана с винтовками. Мы проходим через античные копьеносные с доспехами ворота и мощеный двор на внутреннюю черную лестницу, где по стенам торчат чудовищные мохнатые головы беловежских зубров с серебряными пластинками, на которых выгравированы даты царских или великокняжеских охот. Во дворце пустынно и сумрачно — сквозь сплошные зеркальные окна падает отсвет уличных фонарей. Только в одной внутренней большой комнате горит неяркий электрический свет. При входе на столике, как обычно на собраниях, лежит лист бумаги для записи посетителей. Гумилев расписался первым, под тридцатым номером.

— Расписывайся и ты...

На листе уже 61 подпись. Вместо того, чтобы расписаться 62-м, я только обвел пером последнюю подпись: 61) Комаров Матвей Алексеевич, военмор «Петропавловска».

Собрание похоже на заседание какого-то юридического общества. «Власть исполнительная и власть законодательная... Двухпалатная система... Государственная Дума... Иеринг... Еллинек... Профессор Муромцев... Максим Ковалевский», — бубнят над ухом знакомые слова, точно я сижу на лекции в аудитории университета.

— Это председатель комитета П. Б. О. профессор Владимир Николаевич Таганцев делает доклад о будущем

государственном устройстве России. А рядом с ним полковник Шведов.

Издали я плохо разбираю лицо Таганцева, вижу только, что он молод — лет тридцати с небольшим, с русой бородкой. Голос его льется профессорски плавно, лишь изредка в монотонный ритм его речи врываются нотки адвокатского красноречия. Я зачем-то пересчитываю собравшихся: 61 без меня, большинство интеллигенты, молодежь, бывшие военные, некоторые в форме моряков, несколько женщин...

Негромкие, как в первых рядах партера, аплодисменты... Доклад окончен.

— Сейчас начнется секретная часть заседания, — шепнул мне Гумилев. — Тебе придется уйти. Ведь ты еще не принят в П. Б. О. Подожди меня в коридоре... минут двадцать, не больше...

Отлично, теперь я могу совсем уйти из этой каменной великокняжеской берлоги. После Февральской революции летом дворец был занят (из боязни, что его, как соседний особняк Кшесинской, захватят большевистские части) Управлением по сооружению железных дорог. Я здесь работал месяца два и приблизительно помню общий план. Выход на двор должен быть где-нибудь налево... Ища лестницу, я попал в какую-то комнату и наткнулся на умывальную раковину, приходившуюся мне по грудь... Уборная Николая Николаевича... Здесь был кабинет одного из начальников отделов... Окна выходят на домик Петра Великого, значит, выход вниз... Другая комната — какой-то музей. В небольших аквариумах плавают губки или медузы. Нет, это не аквариумы, а большие банки со спиртом и препараты вроде гигантских вылущенных грецких орехов... Да, ведь это же мозги, отпрепарированные, вынутые из черепной коробки человеческие мозги! У подъезда я видел надпись: Институт по изучению мозга. Еще не хватало только: разбить в темноте одну из банок и шлепнуться на пол на выплеснувшуюся со спиртом жирную осклиз-

люю массу... Слава богу, вот и лестница с головами зубров. Стекланные глаза их злобно светятся. Кажется, вот-вот, встряхнув беловежскими колтунами, ледниковые быки в ярости вырвут замурованные в стены туши туловищ и ринутся разносить дворцовые загоны. На дворе меня догнал Гумилев.

— Ты здесь... А я-то тебя ищу. Все разошлись. Получили сообщение, что дворец окружают. Надо торопиться. Следуй за мной...

Мы пролезли в дыру деревянного забора и пошли напрямик через занесенный снегом пустырь. Напротив особняка Кшесинской нас остановил патруль.

— Откуда идете? Ваши документы.

— Проходи мимо. Не обращай на них внимания, — дернул меня за рукав Гумилев.

Нас пропустили, только один из красноармейцев дал мне какое-то воззвание, которое я сунул в карман.

— Не бойся. Иди тихо...

Но я, чего-то испугавшись, побежал. Сзади раздались выстрелы, и надо мной засвистели пули. Я споткнулся, что-то холодное, острое пронзило мне затылок и застряло во рту, замораживая мятным леденцом язык и зубы. Я выплюнул леденец на ладонь и при свете фонаря увидел, что это пуля, блестящая, новенькая, еще не стреляная пуля для винтовки.

— Зачем ты побежал? — упрекнул меня, догоняя, Гумилев. — Хорошо еще, что все обошлось благополучно, а то бы ты не отделался так легко.

#### XIV.

#### Список 61-го

Этот мятный холодок на зубах, как оскомина. Я тщательно, в два зеркала, обследую рот и затылок. Сзади,

над мозжечком, небольшое красное пятнышко вроде ожога, на одном из передних зубов щербатинка, но, может, это было у меня и прежде?

И такой же мятный сосущий холодок в груди, под сердцем. Мне все кажется, что оно вдруг остановится. Я часто щупаю пульс, не нахожу его сразу и замираю в страхе.

Но где же та бумажка, воззвание или объявление, которую дал мне один из красноармейцев? Я обыскиваю себя и наконец нахожу ее, скомканную, в кармане пальто.

Желто-серая, как оберточная, толстая газетная бумага со смазанным неразборчивым шрифтом:

По поставлению Петр. Губ. Чрезв. Комиссии от 24-го августа с. г. расстреляны следующие активные участники заговора в Петрограде:

1. Таганцев Владимир Николаевич, 31 г., бывш. помещик, профессор-географ. Главный руководитель Петроградской боевой организации; поставил себе целью свержение Советской власти путем вооруженного восстания и применения тактики политического и экономического террора.

Ухтомский, б. князь, скульптор... Таганцева б. дворянка, 26 л., замужем...

Номер за номером, фамилия за фамилией мелькают в тумане с грязного, подмоченного дождем листка. Вот он, номер 30-ый:

Гумилев Николай Степанович, 33 л., б. дворянин, филолог, поэт, член коллегии изд-ва «Всемирной литературы», беспартийный, б. офицер. Участник П. Б. О., активно содействовал составлению прокламаций к.-р. содержания, обещал связать с организацией в момент восстания группу интеллигентов, которая активно примет участие в восстании, получал от организации деньги на технические надобности.

...Комаров Матвей Алексеевич, 24 л., военмор Петропавловска, во время Кронштадтского восстания был комендантом ревкома... является руководителем «объединенной организации кронморяков», входившей в состав П. Б. О.

Внизу подпись: Президиум Петроградской Чрезв. Комиссии.



Какое счастье, что при входе на собрание я не расписался под номером 62, а только обвел последнюю, шестьдесят первую подпись военмора Комарова! Иначе, пожалуй...

В комнату вошла оживленная, пахнувшая духами и морозом, только что вернувшаяся из поездки по городу Эльга.

— Что вы тут корпите над бумагой? Написали новые стихи?

И она наклонилась к столу через мое плечо, касаясь моей щеки завитками волос.

Но увидев заголовок списка, отпрянула, лицо ее побелело, расширенные глаза остановились и из потемневших лиловых губ вырвался сдавленный вопль. Закрыв уши руками, она упала на диван и забилась в истерике.

— Что такое? Что... что ты с ней сделал? — закричал на меня вбежавший Гумилев.

— Бумага... у него в руке... список... в огонь... в огонь... — прорыдала судорожным хохотом Эльга.

— Брось, брось сейчас же эту бумагу в огонь!

Голос у Гумилева спокойный, но лицо его тоже побелело и губы дрожат.

Я бросил бумагу в камин. Пламя не сразу, пошипев, медленно охватывает ее и пожирает.

— Помешай кочергой!

Черный покоробленный листок рассыпается и исчезает в пламени.

Эльга сразу же успокоилась, встала с дивана и отклонила поднесенный ей Гумилевым стакан воды с валериановыми каплями.

— Какая я глупая! Ну разве можно было закатить истерику по всем правилам дамского искусства из-за такого пустяка!

И она с улыбкой кокетливо погрозила мне пальцем.

— Смотрите! Вы сумели меня напугать так, что я

забылась и разнюнилась перед вами, как нервная институтка. Я вам этого не прощу и постараюсь отплатить тем же...

## XV. Семь зеркал из Луна-Парка

Мы сидим в гостиной, в сумерках, при свете камина и пьем глинтвейн. Снаружи ветер, почти буря, шумят деревья и Нева; гремит, имитируя театральный гром, железными листами крыша. Огромные плотные массы воздуха с разбега, как прибой, ударяют о стены и окна. Пламя, давясь, жадно, торопливо гложет сосновые дрова, как голодающий кусок твердого, из размолотой коры хлеба, и с гулким уханьем летит навстречу проваливающемуся с воем в трубу ветру.

Гумилев с грустью вспоминает свои абиссинские путешествия, как он с ружьем ночью на дереве подкарауливал льва, как питался несколько дней в лесу одними неведомыми большими плодами, как бредил в палатке в приступе тропической лихорадки и видел вдали костры, слышал завывания готовящихся напасть на лагерь сомали.<sup>1</sup>

Потом читает свои африканские стихи. Красноватый отблеск камина скользит по его бритой (чтобы скрыть проступающую лысину) голове и по лицу притихшей, задумавшейся Эльги. Она слушает молча, но в ее глазах, улыбке, во всей ее позе чувствуется что-то властное, хищное, напоминающее стихи Гумилева:

И тая в глазах злое торжество,  
Женщина в углу слушала его.

<sup>1</sup> Сомали (сомалийцы) — коренное население Сомали.

Африка Стэнли и Ливингстона, которую с отрочества так полюбил Гумилев, что заставил о ней «шепотом говорить в небесах серафимов», — хорошо грезить о ее зное и тропических ливнях в предполярном сумраке и слякоти, но Россия, где же Россия? Не она ли, кровавою пеною знамен, хлещет по улицам и площадям, как Нева в наводнение, черными волнами манифестаций, и грозит затопить, смыть все, ей сопротивляющееся...

Гумилев, точно угадав мою мысль, читает стихи о войне:

Я, носитель мысли великой,  
 Не могу, не могу умереть...  
 Золотое сердце России  
 Мерно бьется в груди моей...

Потом о мужике, «который обвораживает царицу необозримой Руси», о городе, где

Губернаторский дворец  
 Пышет светом в часы вечерние,  
 Предводителей жеребец —  
 Удивление всей губернии...

Но ведь это же Россия прошлого, которая никогда не воскреснет. А Россия настоящего? Как уловить биенье ее красного сердца, чтобы не потерять, умирая заживо, ее мерного пульса в своей груди?

Эльга с нехорошей усмешкой наблюдает за мной.

— Что вы так насупились? Давайте чокнемся. От этой бури, от глинтвейна и стихов мне стало весело. Хочется шалить и проказить. Хотите быть моим компаньоном? Я покажу вам забавный фокус. Вы когда-нибудь видели зеркала в Луна-парке, которые дают уродливые и смешные искажения?

— Эльга, что за странный каприз! К чему это? — пытается остановить ее Гумилев.

— А если мне хочется подурачиться? Идемте...

Она взяла меня под руку и повела вниз по винтовой лестнице в небольшую комнату, выкрашенную белой

масляной краской, с семью овальными зеркалами в размер человеческого лица. На противоположной стене висел какой-то прибор, вроде аппарата для рентгенизации.

Я заглянул в одно из зеркал, обозначенное первой буквой греческого алфавита — альфой. Оно дало обычное, только несколько туманное отражение моего лица.

— Подождите. Я сейчас объясню вам, в чем заключается фокус. Если я из этой камеры начну пропускать через вашу голову тепловые лучи по шкале: альфа, бета, гамма и т. д., то эти семь зеркал покажут деформацию вашего лица — такую же, какой оно подвергалось бы в разложении после вашей смерти. Вы слышали, что в старину вделывали иногда стеклянное окошечко в гробу над лицом покойника. Так вот, в этих зеркалах вы увидите то, что увидели бы, смотря в такое гробовое окошечко на самого себя. Это выходит очень забавно. Если хотите, я даже могу сделать фотографические снимки. Станьте вот так. Я пускаю лучи...

Несколько секунд в первом зеркале альфы отражалось мое живое лицо, потом оно изменилось в восковое, мертвенное, с открытыми стеклянными глазами. Во втором зеркале беты мое лицо выглядело уже потемневшим, с трупными пятнами.

Я не хотел продолжать опыта, но Эльга с силой, неожиданной для женщины, вцепилась мне в руку и заставила пройти через все семь зеркал, садистически любуясь на отвратительную и ужасную деформацию моего лица. Эти отражения были столь страшны, что я почувствовал белый, очищенный от мяса и волос череп. В последнем седьмом зеркале никакого отражения уже не было, только на несколько секунд просиял и исчез световой абрис моего лица, точно рисунок, сделанный на стекле фосфором.

— Что вы так тяжело дышите? Вам нехорошо? Идемте наверх...

В гостиной Эльга подвела меня к трюмо и уличила в том, что я побледнел.

— Ну, теперь я получила реванш. Мы расквитались. Вы на себе испытали то же, что я из-за вашей проклятой бумажонки. Выпейте глинтвейну...

И подняв бокал, она запела арию из «Травиаты». «Нальемте, нальемте, бокалы полнее и выпьем скорей за любовь»...

## XVI. Эльга

Эльга! Эльга! — эти начальные слова стихотворения Гумилева не выходят у меня из головы целый день, как навязчивый мотив. Я пытаюсь сконцентрировать свои мысли на обладательнице этого древнего нормандского имени и дать себе отчет: кто же она и что она для меня?

Когда я долго думаю об Эльге, то мне кажется, что я вот-вот нападу на ее разгадку, найду конец длинного запутанного клубка, но всякий раз, как я ухватываю этот конец, он выскальзывает и теряется...

Я вижу Эльгу каждый день, подолгу гляжу на ее лицо, слушаю ее голос, но странно, как только она удаляется, у меня не фиксируется ее образ, и я не могу вызвать его в своем воображении, хотя у меня очень хорошая память на лица и я нередко узнавал через несколько лет случайно где-нибудь встретившегося раз человека. Помню, таким же неуловимым был у меня в детстве один бред. Он возникал при сильном жаре, каждый раз один и тот же, яркий, и я его узнавал маленькой вспышкой мысли, прорезывающей мрак сознания: вот он! Этот бред был бесконечен и при почти световой быстроте и разнообразии — медлителен и

неизменен. Когда же он исчезал, я не только не мог вспомнить его, рассказать о нем, но даже и представить себе хотя бы приблизительно, в чем он заключался.

Как этот навязчивый бред, неуловим для меня и образ Эльги. Я не могу даже определить, каков цвет ее глаз и волос, блондинка она или брюнетка. Она, как водяная поверхность, меняет окраску от освещения и отражений. Утром в солнечные дни ее глаза кажутся прозрачно-голубыми, а волосы соломенно-золотистыми; вечером же, при электричестве, глаза ее наливаются темной водой, превращаются в одни сплошные зрачки, расширенные атропином, ее волосы окрашиваются хной. Так же изменчив и цвет ее лица, от нежно-розового до загарно-смуглого, и тембр голоса, от сопрано до контральто. Так же меняются и ритмы ее движений, очертания и линии ее тела. И однако при всех изменениях образ Эльги удивительно постоянен, неизменен, остается одним и тем же.

Мне кажется, это происходит оттого, что образ Эльги не един, а сложен из нескольких, как спаянный из мелких крупный опал, как трюмо, искусно склеенное из осколков. И эти драгоценные осколки — мне кажется, я знаю откуда они. В Эльге соединились в один близкие когда-то мне, обаятельные образы тех девушек и женщин, которых я любил, или думал, что люблю. В ее глазах отражаются их глаза, в ее улыбке жемчужной рябью дробятся их улыбки, в ее голосе отдаются эхом их голоса, в ее движениях повторяются их движения — все сразу, все в одной, отдельные и неразделимые.

Но при всей своей обаятельности Эльга кажется мне страшной и ненавистой: она — невидимый центр, фокус, преломляющий и отбрасывающий на экран моего сознания мучительные галлюцинации и миражи.

## XVII.

## Панихида в Петропавловском соборе

— Сегодня мы должны непременно отслужить панихиду. Я дала обет. Вы поедете со мной в Петропавловский собор...

Полувопрос, полуутверждение — все равно от этой поездки мне не увильнуть. Я даже не спрашиваю — по ком, почему именно в Петропавловском соборе и отчего Эльга одета совсем не по-панихидному, а разрядилась, как будто в театр. Зато автомобиль в трауре: несмотря на теплую дождливую погоду, мотор закутан, как в сильный мороз, черной байкой. Комаров остается с ним на берегу Кронверкского пролива. Мы же с Эльгой по узкому деревянному мостику проходим в крепость через старые Петровские ворота, у которых грудастая, дебелия, вымазанная, как дегтем, черной краской, нимфа кокетливо держит в руке разбитое алебастрзвое зеркальце.

Собор внутри оголен и пуст, сняты все венки, ленты, знамена, пышные остатки былых императорских похорон. Вековые каменные стволы колонн вырастают золотой коринфской капителью в глубокие недра сводов, где по расписному потолку, вокруг спадающего вниз хрустальным фонтаном голубого паникадила резвятся голые розовые амуры с венками и стрелами. Обнесенные решеткой, одинаковые белые мраморные саркофаги с высеченными золотыми крестами и имперскими орлами на углах теснятся друг к другу точно из боязни, что не хватит места венценосным потомкам. Напрасно: более половины собора осталось навсегда незанятым.

— Иеромонах отец Антоний здесь?

— Так точно. Они у себя в алтаре.

И старичок-сторож, в очках с железной оправой, с седой солдатской щетиной, покашливая, провел Эльгу к пышному барочному иконостасу, где она

встала в ожидании, как причастница у резных царских врат с двумя выточенными из дерева золочеными архангелами по бокам. Из пустого алтаря просвечивает огромная икона седобородого бога Саваофа в изумрудных одеждах с зеленым, похожим на детский воздушный, шаром под рукой. От малахитового подножья отделилось темное пятно и выпрямилось в высокую фигуру. Иеромонах в шелковой рясе с золотым наперстным крестом. Оливково-матовое, нерусское, скорей греческое лицо его, окаймленное черной бородкой и вьющимися волосами, неприятно иконописной мертвенной красотой. Коричневые, блестящие, как накрылья жуков, глаза обведены лиловым ободком.

Эльга подошла под благословенье и поцеловала его хрупкую смуглую руку. Иеромонах по-дамски шуршит шелком, пахнет ладаном и духами и при разговоре, близко наклоняясь к Эльге, шепчет что-то таинственно-интимно на ухо, как интересной пациентке доктор по женским болезням.

В левом углу иконостаса горит лампадка перед иконой с изображением русобородого мужа в малиновой одежде, с мечом. На крайнем белом саркофаге у самого окна, как на столике кафе, поставлен горшок с розовато-голубой гортензией. Эльга кладет земной поклон, крестится и целует золотой крест на мраморе.

— Что это за икона?

— Апостола Павла.

— А могила чья?

— Императора Павла Петровича.

Старичок-сторож разговаривает со мной строго и сухо, видимо, считая зазорным такое невежество.

Иеромонах служит один, без дьякона. Звучным тенором, с деланой дрожью в голосе выкрикивает он нараспев, окая, слова панихиды, которые подхватываются изголодавшимся по звукам эхом и гулко перекатываются, перевариваясь в каменном чреве соборных сводов.



...Убиенном рабе божьем... императоре Павле...

Что за нелепая фантазия служить по нем панихиду! Впрочем, это считалось модным среди петербургского общества во время войны с Германией. Саркофаг украшался цветами и около него непрерывно служились панихиды дежурящим в соборе духовенством по заказам великосветских и гвардейских дам.

Я тупо смотрю на мраморную глыбу и вспоминаю портрет Павла: курносое красное лицо, рыжие волосы, оловянные безумные глаза и пышная, со звездой, мантия гротескмейстера Мальтийского ордена. Что от него там осталось? Череп на бархатной подушке в золотом ошейнике ветхого гвардейского мундира, еще топорщегся на впалом корсете ребер, сморщенные жабрами лосиновые рейтузы на обглоданных костях шенкелей, одетых в заплесневелые зеленые ботфорты...

Тяжелый удар, но не колокола, а крепостной сигнальной пушки наполнил густым протодиаконским гулом пустоту собора. Оливковые руки, благословляя, подставляют Эльге к губам золотой крест. Эльга пальцем манит приложиться и меня, но иеромонах, не дождавшись, прощуршав шелком, быстро скрылся в зеленом сумраке царских врат. Сторож задувает свечи и, покашливая, гремит тяжелой связкой соборных ключей.

— Уходить надо. Тут ведь теперь музей. Экскурсанты ходят. Нельзя панихиды служить. Вон и пушка стреляет. Должно, опять вода поднимается...

Снова выстрел с бастиона. Двухсотлетний салют — вестник наводнений. Верно, Нева поднялась сверх ординара. Золотой ангел (говорят, в нем несколько сажень, но снизу он кажется игрушечным), балансируя тяжелой ношей креста, машет крыльями, силится удержаться босыми ногами на скользком золотом шарике соборного шпица и вихляется флюгером в низко бегущих тучах.

## XVIII. Флавихр Кузьмич

— Вы помните «Бобок» Достоевского из его «Дневника писателя»? Ну так вот у меня сегодня такое же настроение...

В глазах у Эльги опять бродит озорной болотный огонек, как в тот вечер, когда она показывала мне зеркала.

— Едемте в гости к Александру Александровичу Блоку.

— На Офицерскую...

— Нет, не на Офицерскую, а на Смо-лен-ско-е...

Она лукаво растягивает по слогам последнее слово и, по-кошачьи щурясь, прижимается ко мне. Слюна во рту пересыхает, и я начинаю дрожать мелкой лихорадочной сладострастной дрожью.

С Кронверкского на Васильевский остров... Полным ходом влетает «Ройс» в раскрытые, словно для приема поздней похоронной процессии, ворота Смоленского кладбища. Из деревянной сторожки с надписью «Дежурная могильщиков» на гудок вышел здоровенный чернобородый мужик в овчинном тулупе, с лопатой (тот самый, что встретил меня ночью, как дворник, с колуном в руке у ворот на Плуталовой улице) и грубо выругался:

— Ишь куды приехали ссучиваться. Нет вам другого места что ли?

Эльга дала ему бутылку, вынутую из-под сиденья шофера. При свете фонаря в стекле плещется лиловатая жидкость и чернеет ярлык: череп с двумя перекрещенными костями — яд, денатурат.

Дежурный могильщик, как слон французскую булку в хобот, быстро сглотнул бутылку в рукав тулупа.

— Проходите... Мы вас тут покудова покараулим...

Узкая мощеная плитами кладбищенская улочка и по обеим сторонам ее обнесенные чугунными решетками,

как дома особняки, надгробные памятники. Кое-где (как будто владельцы их не спят) светятся огоньки лампад. У белеющей в сумерках церкви две старухи с корзинами торгуют иконками и бумажными цветами.

— Барин-красавчик, купи букетик для невесты.

Эльга взяла у них два пучка бессмертников и один дала мне.

— Подождите здесь. Я пойду за священником...

Старухи, закутанные в платки, сидят двумя каменными скифскими бабами по бокам крутой лестницы и тягуче, как спицами шерстяной чулок, вяжут прерванный нашим приходом разговор.

— Опился он, а не отравился...

— Вот болезнь-то была... Запомню, как называется...

— Холера?

— Ну да, холера. Свекровь и говорит: «Дай мне испить, чтой-то неможется». Я ей дала ковшичек, а опосля сама испила. Она померла, а со мной хоть бы што...

— Значит, у тебе желудок лучше перерабатывает...

От сумрака и шума кладбищенских деревьев, от старушечьего разговора мне становится жутко.

— Что это за церковь?

— Тут, батюшка, два престола. Внизу Михаила Аргангела, а наверху Троица...

Наконец-то Эльга! Я рад даже ей.

— Что за странность? Ни одного священника. Ну, все равно войдемте в церковь.

Крутые каменные ступени, осклизлые чугунные перила; у темной с крестом входной двери наверху белеет объявление: «Дешево снимаю покойников... фотографирую в любую погоду»...

Посреди церкви празднично горит электрическими свечами паникадило; под ним аналой и коврик.

Да ведь я был здесь... Флавиан, с таким цветистым именем, хромой, в пенсне, тихий, застенчивый помощник

бухгалтера, страстный любитель цветов и фотографий голых женщин. В июле вечером у него на даче гостили сослуживцы, играли в карты, пили, а утром нашли хозяина в постели мертвым: умер от разрыва сердца. В этот день прошла сильная гроза, покойник сразу потемнел и так разложился, что гроб пришлось закрыть. Только здесь в церкви, после панихиды открыли засыпанную цветами (фотографий голых женщин уже не нужно было) крышку, чтобы вложить венчик и отпускную грамоту — и вся церковь, несмотря на раскрытые окна, наполнилась таким зловонием, что меня, хоть я стоял далеко, затоснило. А потом, когда опускали гроб в мелкую полуторааршинную могилу (глубже рыть нельзя — вода) и насыпали холмик, то вдруг заметили (и переглянувшись, не могли не улыбнуться), что на кресте крупными буквами вместо Флавиана написано небывалое имя: Флавихр. Хотели сменить, но забыли, так и осталось: Флавихр Кузьмич...

Эльга взяла меня за руку и ведет на коврик, потом, постояв, надевает мне и себе на палец обручальные кольца и целует меня, как невеста. От ее поцелуя, как от анестезирующей ватки, губы мои холодеют и теряют чувствительность. По каменным ступеням гремят быстрые шаги... Комаров!

— Эльга Густавовна... скорей... кладбище заливают... наводнение!..

Слева в проходах между могилами стоит вода, но каменная дорожка еще не залита. Около автомобиля целое болото. Дежурный могильщик, шлепая по воде сапогами, открывает и запирает за нами ворота. Резиновые покрывки шумно разбрызгивают лужи.

Вдруг меня охватывает истерический припадок смеха.

— Что с вами?

Но я, захлебываясь, глотаю вихревую струю черного воздуха, обтекающего стекло перед шофером, и едва могу выговорить:

— Флавихр Кузьмич... Флавихр... вихр...

## XIX.

### Женщина с подтяжками на шее

— Здесь бросали в прорубь Григория Ефимовича.

— Какого Григория Ефимовича?

— Распутина... Вон там, где светлое пятно... Видите?

Эльга показала рукой за перила туда, где гуськом переходят вброд Малую Невку, по горло в черной воде, бревенчатые сваи быков. Деревянный большой Петровский мост скрипит, как готовая сорваться с причала баржа.

— Давайте венок... Да потушите свет... Нас может увидеть милиционер из будки...

Вулупленные рачьи глаза мотора потухли. Небольшой металлический с фарфоровыми цветами венок звенит от ветра. Что они с ним будут делать? Ах, черт... В потемках я не заметил, что деревянный настил тротуара поднят на полчетверти и, споткнувшись, упал на четвереньки.

— Осторожней... Вы так слетите в воду... Бросайте, Матвей Алексеевич!

Комаров, развернувшись, ловко, как спасательный круг утопающему, бросил венок. Эльга, перекинувшись через перила, следит, куда он упадет, но плеска в шуме воды не слышно.

С потушенными фонарями задним ходом — назад на шоссе Петровского острова...

Тревожный протяжный гудок... Пароход... Нет, какая-то фабрика. Новая Бавария и Канатная. Все окна освещены. Неужели работают и ночью? Дорогу нам перегородили два грузовика.

— На легковом-то, пожалуй, не проедете. Там, у Ждановки, перед мостом вода без малого на аршин. А на Тучков и подавно нельзя...

Через Ждановку мы все же перебрались, хотя и с опасностью увязнуть и подмочить мотор. Но на

Карповке около Каменноостровского, улицы Красных Зорь, машина, зашипев, встала.

— Что случилось?

— Мотор не в порядке. Придется остановиться. Здесь рядом есть ресторан-отель. Помогите мне сдвинуть машину.

Вдвоем с Комаровым мы вкатили парализованный «Ройс» во двор двухэтажного особняка с башенками на крыше и каменным крытым подъездом. У входа под стеклом золотом по черному отливает надпись — «Отель Ривьера».

— Матвей Алексеевич, вы еще долго провозитесь с мотором? Мы зайдем обогреться. Я промочила ноги и озябла.

И Эльга нажала несколько раз кнопку с надписью — «Ночной звонок к швейцару».

Вместо ливрейного отельного швейцара двери открыл взлохмаченный заспанный коридорный в белой рубашке без пояса и в шерстяных деревенских носках.

— Все номера заняты. Остался только один за двадцать пять рублей. Угодно занять?

Расторопный позевывающий малый (на него неожиданной ночной звонок подействовал так же возбуждающе, как жужжанье запутавшейся в паутине мухи на сонного паука), мягко ступая, повел нас по устланному темно-красным половиком узкому коридору мимо запертых мертвых номеров на второй этаж.

— Что прикажете подать?

— Подайте нам кофе с ликером. Только поскорей...

— Слушаю-с.

Отведенный нам номер — большая нежилая комната с претензией на роскошь: голубая мягкая (но уже просаленная) мебель, зеркала, исчерченные камнями перстней (имена посетительниц с датами кутежей, на одном любительский неприличный рисунок), потертый в пятнах ковер и выцветшие, давно не выбивавшиеся портьеры на окнах и на арке в спальню.

Осторожный стук, и в дверь просовывается поднос с дымящимся на машинке кофе и бутылкой ликера — все, как в перворазрядном ресторане, но подает тот же неряха коридорный, даже не подпоясался и не обулся. Разве в отеле нет другой, более приличной прислуги?

— Больше ничего не прикажете? Тогда извольте получить... Не извольте обижаться. Такой у нас порядок... Посетитель теперь разный, по виду никак не узнаешь... Намедни господа офицеры напили-наели, а как подали счет, осерчали и давай шашками грозить... Сдачи не прикажете? Покорно благодарим...

Ретируясь задом, разговорчивый малый в шерстяных носках сунул мне в руку ключ и таинственно шепчет:

— Дверь извольте на ночь запереть изнутри. Сами знаете, время какое. У нас здесь полно всякого народу. Недавно один господин, с виду такой благородный, обходительный, голую женщину задушил в постели подтяжками..

Эльга разливает черный кофе в крошечные чашечки и золотой ликер в узкие рюмки.

— Вы помните своего сумрачного бога?

— Какого бога?

— Заключительное стихотворение вашей «Дикой порфиры».

— Кажется помню, но...

— Почему я вдруг ни с того ни с сего вспомнила о нем? О, совсем не потому, чтобы оно мне нравилось. Это стихотворение слабее других, но в нем вы удивительно верно почувствовали свою судьбу как поэта и как человека. Как верен этот ваш страшный приговор самому себе — вечная неплодная жажда живого зачатия, это постоянное «но отклоняемый силою злобной», эти недовершенные красные ублюдки змеистых комет вместо совершенных полнозвучных солнц. Как в поэзии, так и в жизни, в любви, во всем, во всем!

Эльга поднялась и говорит с трагическим пафосом,

как актриса выигранный монолог. Но я плохо слушаю ее: мне почудился из-за портьеры блудливый женский смех и мягкое похлопывание ладонью по голому телу. Неужели там, в спальне? Не может быть, наверное, через перегородку из соседнего номера...

— И эта иссушающая вас неплодная жажда живого зачатия, эта злобная, всегда отклоняющая вас сила, — вы знаете, кто она?

Эльга вплотную подходит ко мне и берет своими руками обе мои (ее — холодны, как мрамор) и смотрит мне гипнотизирующе в глаза. (У нее — один сплошной, черный, блестящий от атропина зрачок). Голос ее снижается до шепота, но такого пронзительного, что шипение его бежит мурашками по моему телу, шевелит портьеру и наполняет (я чувствую это) соседнюю страшную комнату.

— Эта жажда, эта сила — я! Я, только я одна раздваивала вашу волю, вашу любовь, вашу поэзию, убивая веру сомнением, любовь — ревностью, жизнь — смертью. Я, как аэроплан-истребитель, все время парю над вами, сбрасывая в ваш мозг разрушительные атомы бомб, маячу в нем сполохами, как магнитная точка полюса, в чье мертвое ослепительное безумие упираются меридианы всех ваших помыслов и желаний! И теперь разве не я играю с вами эту страшную шутку! Но сегодня... может быть, это слабость, мне вас жалко... Может быть, если еще не поздно, я освобожу вас... Если еще не поздно... Может быть...

Эльга, как медиум после сеанса, ослабев, опускается в кресло, подбирает ноги и съеживается в белый комок, напоминая залетевшего под абажур лампы осеннего бражника, забившуюся от бури в комнатную трубу перелетную птицу.

— Меня знобит... мне холодно...

Эльгу бьет озноб, как перед приступом малярии, лицо ее обескровливается и белеет.

— Нет, я не могу больше... Я теряю сознание...



Ни огонь, ни ликер меня не согревают... Капните капельку крови в рюмку... Неужели вы боитесь сделать это для меня? Вот вам булавка, уколите себе палец и выдавите капельку крови.

Эльга протягивает мне отколотую от бузки золотую булавку с рубиновой головкой. Я покорно надкальваю слегка свой мизинец на левой руке и выдавливаю гранатовую капельку крови.

Глаза Эльги, беспокойно следившие за моими движениями, загораются хищной радостью.

— Вот так... Теперь капните ее в рюмку с ликером и дайте мне. Да что вы смотрите на меня с таким ужасом, точно я вампир?

Выдавленная из тубика-мизинца капелька крови падает и растворяется в светлом ликере. Эльга дрожащей рукой берет и залпом (как больная спасительное лекарство) осушает рюмку.

— Это действует, как веронал. Укройте меня и обнимите крепче.

Я держу Эльгу, притихшую и прильнувшую ко мне доверчивой девочкой. Уткнувшись лицом в мое плечо, она задремала.

Какая тишина! Даже из окна с улицы не долетает ни одного звука.

Что за чертовщина! На малиновой портъере под аркой, как на гробовом покрывале, неподвижно лежит обнаженная по локоть женская восковая рука.

Я хочу подняться и крикнуть, но вместо крика из сдавленного горла вырывается глухонемое жалобное мычание, как у спящего, увидевшего страшный сон. Руки Эльги крепко обвивают мою шею, и губы ее раскрытые, но неподвижные и сухие, приникают к моим. От ее поцелуя я ощущаю то же, что и в церкви: легкий ходочок и потерю чувствительности в губах, точно их анестезировали ваткой, смоченной в эфире или кокаине.

Вспомнив, что я нахожусь и уже без страха смотрю на восковую руку, извещающую и распахивающую портъеру

арки, откуда показывается высокая, голая, такая же желто-восковая, как и ее рука, женщина в черных ажурных чулках и лакированных туфлях на французском каблуке. Лицо ее, в резком контрасте с желтизной тела и ярко накрашенными губами, — лиловато-синего оттенка, точно завуалированное, и на шее ее висят затянутые галстуком-самовязом цветные мужские подтяжки. Женщина похотливо улыбается, поблескивая золотыми резцами и, поманив пальцем, скрывается за портьерой...

Почему я так боюсь этой комнаты? В ней нет ничего страшного — обычная, как во всех таких отелях, спальня с катафалком и кроватью под балдахином, с розовым фонарем на потолке, с умывальными принадлежностями...

— Милый... милый... Наконец-то я твоя... совсем твоя...

Эльга до звона в висках, до головокружения охватывает мою голову и прижимает к себе. Я вижу только одно: ее огромные синие, залитые блаженным блеском глаза, в глубину которых я падаю с аэропланной скоростью под ревущий гул яростно работающих кровью — моторов сердца.

Но нет, это не Эльга! Я с отвращением отшатываюсь и вскакиваю. На постели лежит та голая женщина с синим лицом и мужскими подтяжками на шее. Она смеется золотыми зубами и показывает пальцем на свой обнаженный живот и ноги, вдруг превращающиеся в торчащие из ажурных чулок две желтые берцовые кости и скелет таза, в дыру которого виднеется залитая пятнами, как грязная скатерть, постельная простыня.

Кто-то сзади сильно толкнул меня, и я упал ничком поперек провату и с размаха больно стукнулся головой об острый выступ лобковой кости таза, рассыпавшегося от удара...

— Вам дурно? Вы так сильно стукнулись о ручку

кресла. Я боялась, что вы рассекли себе висок...

Я поднимаю налитую свинцом в затылке голову из теплых душистых колен Эльги. Уже рассвело. В отворенное настежь окно льется холодный ветер с раздувшейся грязной Карповки и сладкий малиновый перезвон с четырехэтажного корпуса с голубыми и белыми узорными куполами — из женского монастыря Иоанна Кронштадского.

— Выпейте рюмку ликера... Нам давно пора ехать. Какой вы, однако, нервный, всего одна капелька крови и вы уже падаете в обморок...

## XX.

### Четырнадцать капель нашатыря

Ночная автомобильная поездка с Эльгой не прошла бесследно: я начал страдать бессонницей. Правда, это бывало у меня и раньше, но не в такой острой форме.

Я просыпаюсь перед рассветом с тупым безнадежным отчаянием, как осужденный на смерть перед казнью. Тщетно стараюсь я найти причины этого отчаяния и облечь его в конкретные формы. Чувство отчаяния беспричинно и бесформенно, как будто я надышался ядовитых газов, отравляющих нервную систему. Бессоннице предшествуют мучительные кошмары, которые я, проснувшись, забываю, помню только, что все они связаны с каким-то ужасным уродливым ребенком, что мне часто слышится во сне детский плач.

Один раз кошмар вылился даже в галлюцинацию (галлюцинация в галлюцинации, как пасхальное яйцо в яйце!). Я проснулся от детского плача и зажег электричество. По одеялу от ног к голове по мне полз головастик, выкидыш-мальчик месяцев пяти или шести. Он был весь покрыт зеленоватой слизью и оставлял за собой на

постели пуповину мокрого следа. Пронзительным, гуттаперчевым, как у куклы, голосом, он противно пищал басом на всю комнату: «Папа, папочка, возьми меня с собой» — и, протягивая ручки, лез ко мне на голову.

В ужасе я вскочил и встряхнул одеяло. Ребенок исчез в складках и больше не появлялся, но приглушенный детский плач (тот же, что я слышал во сне) продолжался и наяву. Казалось, он исходил откуда-то из стены.

— Почему вы так плохо выглядите? Больны? — спросила меня за завтраком Эльга.

Я пожаловался на бессоницу и рассказал о слышанном ночью детском плаче.

— Ах, это я виновата, — смутилась почему-то Эльга. — Я забыла подлить свежего спирта и капнуть нашатыря. Сейчас мы это устроим.

После завтрака она поднялась ко мне в комнату и открыла дверцу потайного сейфа в стене. Внутри, в стеклянной зеленоватой банке, плавал заспиртованный трупик того самого отвратительного мальчика-выкидыша, который лез ко мне по одеялу ночью. Жидкость от взмаха дверцы тихо заплескалась и трупик слегка зашевелился, как дышащая жабрами, не совсем уснувшая рыба.

Эльга приподняла крышечку и накапала в банку каких-то капель из пузырька.

— Если он будет кричать и беспокоить вас ночью, то нужно только накапать в банку четырнадцать капель нашатыря, и он утихнет. Вы можете делать это без меня, сами. Я покажу вам, куда я кладу ключ от сейфа. Может быть, в вас пробудятся нежные отцовские чувства и вы захотите взглянуть на своего ребенка...

Что она — издевается надо мной? Но в ответ на мой недоуменный взгляд Эльга смотрит совершенно серьезно, даже с упреком.

— Как, разве вы забыли «конец августа и безмгlistое начало глубокого и синего, как сапфир, сентября»? И неужели вы думали, что наше пребывание ночью

в «Ривьере» пройдет бесследно? Только, ради бога, держите это втайне от всех...

Панцирная дверца сейфа тяжело захлопнулась над зеленой урной колбы.

Мой ребенок? Нежные отцовские чувства? Какая чушь! Причем тут конец августа и ночь в «Ривьере»? И кто тогда мать этого уродца? Разве я обладал Эльгой там, в отеле, когда увидел в обмороке женщину с подтяжками на шее? И ведь с той ночи прошло всего несколько дней...

Что за дикая фантазия держать в комнате заспиртованный препарат выкидыша! Я охотно выплеснул бы его в помойную яму, но только как сделать это незаметно и не рассердится ли Эльга? И зачем надо капать в спирт четырнадцать капель нашатыря?

Да и стоит ли еще там банка с трупиком... Может быть, мне это только померещилось...

Осторожно открыл я оставленным мне Эльгой ключом панцирную дверцу и замер: из банки глядел на меня рыбьими глазами, слегка поплескиваясь в своей спиртовой ванне и двигая плавниками ручек и ножек, зеленоватый трупик. Казалось, что он сейчас приподнимет крышку, вылезет из банки и начнет опять карабкаться на меня с пронзительным резиновым писком «Папа, папочка»...

Я в испуге захлопнул сейф, как взломщик, застигнутый на месте преступления, увидев, что в дверях стоит Гумилев. Но он только посмотрел на меня высокомерно и презрительно (так мне показалось) и повернулся, ничего не сказав. Вместо него в комнату вошел Комаров.

— Я к вам по очень важному делу, но не по своему, а по чужому поручению. Я, конечно, не буду касаться того, что произошло между вами и Николаем Степановичем... Я не имею права в это вмешиваться, хотя мне очень прискормно, что все так вышло. Я пробовал его отговаривать, но Николай Степанович, как вы знаете, очень упрям... Одним словом, он решил вызвать вас на дуэль

и передать вам вызов... Вы должны условиться со мной относительно секундантов...

Комаров официально торжествен, но немного волнуется и не уверен, так ли он выполняет возложенное на него ответственное поручение.

— Разумеется, все должно остаться в строгой тайне. Эльга Густавовна не должна ничего подозревать... С секундантами мы дело уладим... Вы можете положиться на меня... Николай Степанович хочет, чтобы дуэль происходила около Коломяг, на месте дуэли Пушкина, из пистолетов тридцатых годов... Думаю, вы, как поэт, поймете желание Николая Степановича и согласитесь...

Я согласился на все, не возражая, и только когда ушел Комаров, спохватился... Какая нелепость! Драться ни с того ни с сего, да еще так театрально. Правда, Гумилев любит такую героическую бутафорию. Дрался же он когда-то на дуэли с Максимилианом Волошиным. Ну что же, обменяемся парадными выстрелами, попасть из старых дуэльных пистолетов не так-то легко. Но все же...

Эльгу я увидел только вечером. Молчаливая и задумчивая, она играла на рояле шумные бравурные вещи, на прощанье же неожиданно поцеловала меня в лоб и несколько раз перекрестила мелкими, как стежка иглой, крестиками.

— Не бойтесь, все обойдется благополучно.

## XXI.

### «Dickson Sons' Sheffield»

Почему привязались ко мне прилипчивыми слепнями эти три нелепых слова: Dickson Sons Sheffield? Они навязчиво мельтешат печатными буквами, как световая реклама какой-то фирмы, зажженная в моем мозгу.

Я не знаю, что они значат, но они кажутся мне страшно знакомыми, чем-то связанными с Гумилевым.

Из глаз сыплется фонтаном бенгальский огонь, растекается в круги и собирается в летучий огненный шар молнии — светящуюся голову какой-то женщины. В ее широко открытых, зеленовато-серых глазах — девичья мечтательность и грусть, а в сомкнутых пухлых детских губах затаено столько неосознанной еще невинной чувственности! Голова приближается ко мне, я вдыхаю в аромате знакомых духов горький миндальный запах плеч и ромашку золотых, рассыпанных по подушке волос.

Раскрытые в жажде поцелуев губы, обдавая легким испарением только что выпитого ликера, шепчут в забытии — звучащее нежным признанием «неужели я твоя, совсем твоя» — нелепое бессмысленное «Dickson Sons Sheffield...»

Я приподнимаюсь, освещенная голова исчезает, только от подушки тянет легким запахом ромашки и знакомых духов.

По этому запаху, гончими, напавшими на след, залиvisto ринулись в чашу прошлого воспоминания...

Первая встреча, незначительные слова, взгляды, движенья — в них, как в щепотке невзрачных семян, заключено уже все цветенье, все плоды будущей любви и страсти.

Мы познакомились на вечере акмеистов за столиком в «Бродячей собаке». Она взглянула большими наивными глазами и сказала:

— Как вы можете писать такие ужасные стихи, когда у вас столько нежности в губах? Вы знаете, что я раз ушла от него (она кивнула на приехавшего с ней поэта, моего приятеля), чтобы только не встретиться и не познакомиться с вами.

И больше ничего — мы пили вино, смеялись, говорили о пустяках. Но в парниковый красный грунт была брошена щепотка розовых семян, одно из них

принялось и пустило нежный колючий росток.

Поэтому она сама пожелала, чтобы провожал ее я. Для влюбленного в нее молодого поэта, моего приятеля, это был тяжелый удар. Он долго с ней объяснялся, наконец уступил, но на прощанье крепко поцеловал меня, прося печатью дружеского поцелуя доставить в целости драгоценное поручение.

А потом надутые розовые конвертики рассеянных писем, далекий нежный голос в телефоне, беглые, урывками, встречи (она всегда куда-нибудь торопилась) и неожиданное для обоих сближение, сладостное и мучительное, короткое, после поездки на острова, в кабине ресторана, под электричеством, с губами, пахнущими свежестью невского ледохода и настоем только что выпитого ликера.

Испугавшись неожиданного сближения, она стала избегать меня. Я мучительно ревновал, добивался свиданий, а тут еще вечер в «Бродячей собаке» и ухаживание Гумилева. Он не отходил от нее до утра, и она согласилась, чтобы он поехал ее провожать. Может быть, в этом не было ничего особенного, ей просто льстило внимание известного поэта, а Гумилев всегда приударял за хорошенькими женщинами. Но в подвале «Бродячей собаки», где терялось представление о времени, где в ароматах духов и сигар еще прела плесень щелока и застарелого ревматизма прачек, где на сырой штукатурке стен изысканнейшими художниками были намалеваны яркие извращенные изображения женщин, птиц и плодов, там все, особенно перед рассветом, принимало необычайные фантастические размеры, такие же, как и моя ревность.

С отчаянием блоковского арлекина смотрел я, как усадил Гумилев мою подругу в извозчичью пролетку и увез кататься по Невскому. Во что бы то ни стало я хотел увидеть ее и объясниться. У подъезда ждать нельзя, столкнешься с Гумилевым, надо на лестнице, у дверей квартиры. Швейцар, поблагодарив за данный ему рубль,



беспрекословно пропустил меня и я, прячась в темноте, как вор, вздрагивая от шума, ждал. Уже рассвело, когда стукнула внизу парадная дверь, послышался ее оживленный голос и торопливые маленькие шажки по половику ступенек.

Объяснение ни к чему не повело. Ее рассказ о прогулке и о том, что она обещала Гумилеву быть у него в четыре часа дня в редакции «Аполлона», еще более воспалил мою дикую ревность.

Все во мне мучительно ныло, как обнаженный зубной нерв, требуя острого оперативного вмешательства. Пешком отправился я на Финляндский вокзал. Ни пронизывающий ветер с Невы, ни бьющий в лицо ледяной дождь не успокоили моей боли. Я решил ехать в Выборг и купить револьвер — там для этого не нужно разрешения полиции. Если она придет в четыре часа к Гумилеву, я убью его.

Долго расхаживал я по платформе, слушая хриплую переключку маневрирующих паровозов. Подошел к зеркалу, из него глянуло на меня желтое страшное лицо. Потом отказался от поездки: у меня нет с собой паспорта и я могу опоздать. Можно достать какое-нибудь другое оружие. На Морской я зашел в охотничий магазин и неторопливо, советуясь с приказчиком, чтобы не выдать себя (словно он мог догадаться, зачем мне нужен нож), выбрал длинный кинжал, каким прикалывают затравленного волка или кабана. Я боялся только одного, чтобы в последнюю минуту, ослабев, не сдала рука — она и так слегка терпнет при одной мысли об ударе. Браунинг гораздо надежней — легкое нажатие пальца...

До четырех часов оставалось еще время, я побродил по Невскому, зашел в кафе, потом в Казанский собор. Около гробницы Кутузова теплилась облепленная свечами большая икона Николая Чудотворца. Тупо посмотрев на старческое коричневое лицо с седой бородкой и высоким ущемленным лбом, и я вслед за

другими, не молясь и не крестясь, поставил свечку за Николая Гумилева. Но никаких колебаний и сомнений у меня не было.

Ровно в четыре часа я позвонил по телефону ей. Нежным усталым голосом она жаловалась на дурное настроение, говорила, что не будет у Гумилева и просила меня встретиться вечером. Я чувствовал себя, как приговоренный к смертной казни при объявлении о помиловании.

В редакцию «Аполлона» (у Пяти Углов) я все же зашел. Как ни в чем не бывало сидел и дружески разговаривал с Гумилевым. Только раз при взгляде на его цветной жилет вспомнил, что вот сюда, распарывая матерью, должен был вонзиться глубоко тот охотничий кинжал, что лежит у меня там, в боковом кармане пальто...

Далекая, нехорошая история, о которой я никогда больше не вспоминал!

Из темноты снова выплыла светящаяся женская головка и раскрытыми для поцелуя губами нежно шепчет, дыша легким испарением ликера: «Dickson Sons Sheffield...»

Теперь я знаю, что значат три проклятых слова! Это — клеймо фирмы на клинке того кинжала, которым я собирался убить Гумилева.

## XXII.

### Теперь мы поквитались

Как резко изменилась погода за ночь: вчера еще была болезно-серая слякоть, а сегодня снег навален аршинными сугробами и деревья охлоплены инеем.

Высокие, легкие санки, ныряя, позванивают острыми стальными полозьями. Запрокинувшись назад и

привстав с козел, остриженный в скобку извозчик-лихач с павлиньим пером на шапке, прицокивая языком, придерживает синими струнами вожжей размашистого вороного рысака с забинтованными от растяжения сухожилиями. Края темно-малиновой попоны, развеваясь от бега, взлетают крыльями. Из-под нее облаком, как из открытой двери чайной, валит густой пар. Заиндевевший лошадиный круп с точностью заводного механизма выбрасывает мощные лопасти задних ног, швыряясь снежками и изредка на спуске слегка осекаясь подковными шипами о металлический передок саней.

— Николай Степанович будет доволен. Мне удалось достать хорошие дуэльные пистолеты пушкинского времени. Да и сегодняшней зимний день мало, я думаю, отличается от того... Вот только Нева не замерзла.

Комаров, накинувший на плечи, очевидно, для большей стильности, николаевскую шинель, посматривает по сторонам с таким видом, точно он достал не только пистолеты тридцатых годов, но и декорировал зимний пейзаж.

Незамерзающая часть речки действительно кажется черной среди снежных берегов — дымящимся грязным стоком теплой воды с какой-нибудь фабрики.

— К самым Коломьягам прикажете?

— Нет, мы слезем тут на шоссе. А ты обождешь. Давай вон туда, где лошадь стоит...

На Коломьяжском шоссе, у матовых стеклянных шаров подстриженных деревьев, второй извозчик-лихач с заиндевевшими усами заботливо застегивает попоны и отряхивает метелкой иней с запарившейся лошади.

— Давно приехали?

— Да нет, только что... Господа пешком прошли... Вон они там в леску под деревьями-то...

В рыхлом снегу проложен свежий глубокий след шагов через пустырь к рощице, где движутся две черные фигуры: Гумилев и еще какой-то молодой военмор, второй секундант. Комаров сбросил на снег

никлаевскую шинель и положил на нее ящичек с пистолетами. Потом начал о чем-то совещаться со своим товарищем-военмором, отмеривать шаги и протаптывать дорожку в снегу. Гумилев молча ждал, прислонившись к небольшому оснеженному обелиску-памятнику с неразборчивой залепленной инеем надписью. Так вот оно, знаменитое место дуэли Пушкина, на котором я еще ни разу не был, хотя и бывал на скачках и полетах на Коломяжском ипподроме. Снежная белая поляна, круг деревьев в инее — подходящее место для арии Ленского «Куда, куда вы удалились»... И из облаков показывается малиновое тусклое, как луна, морозное солнце. Зимнее утро, как вечер: солнцу не подняться высоко над ясным горизонтом. Мне очень хочется пить и я сосу, как фруктовое мороженое без сахара, снежинки, застужая до ломоты пальцы.

Все приготовления окончены. Комаров подал мне заряженный пистолет и объяснил, когда и как надо будет стрелять.

— Держите пистолет крепче. Имейте ввиду, что он сильно отдает... Целиться надо несколько ниже цели...

Громоздкое неудобное оружие — мне никогда раньше не приходилось стрелять из пистолета, я видел их только иногда мирно висящими на коврах в кабинетах любителей старины. Если бы не тяжесть, то мне казалось бы, что я держу большую детскую игрушку, стреляющую пробками. Да и вся эта бутафорская сцена дуэли как будто разыгрывается нами для аппарата какого-то невидимого кинооператора.

В нескольких сажнях передо мной на снежном листе ватманской бумаги тушью графически четко вырисовывался Гумилев. Он был без шинели, на груди его резко выделялись желтые уланские аксельбанты и два солдатских Георгия с черно-желтыми бантами. Я навел пистолет на желтое пятно и сделал два шага. Неожиданно (нажал ли я случайно пальцем курок или, как мне показалось, самопроизвольно) пистолет мой

выстрелил с таким грохотом и огнем, что я подумал — он разлетелся на части и оторвал мне руку. Невольно от сильной боли в ключице я выронил пистолет.

Когда дым от выстрела рассеялся, я увидел в нескольких шагах от себя наведенный чуть не в упор на меня пистолет Гумилева. Я смотрел в широкое черное дуло и на холодное решительное лицо Гумилева и ждал выстрела. На таком близком расстоянии он несомненно уложит меня наповал. Я хотел остановить его, но тяжелая правая рука висела по швам, как парализованная. Хотел крикнуть: «Николай Степанович, что ты делаешь?» — и не мог.

Оцепенение мое длилось несколько секунд. Потом я увидел, как вытянутая рука Гумилева, точно по ней кто сильно ударил снизу, взлетела вверх и из темного ствола выпыхнул красный язык пламени: выстрел в воздух!

— Теперь мы поквитались! — крикнул Гумилев и отбросил пистолет.

Я пожал ему руку. Комаров и другой секундент, военмор, поздравили нас с примирением. Но я рассеянно слушал их, не сводя глаз с брошенного Гумилевым пистолета: вокруг него на снегу растекалось малиновое талое (или это отблеск морозного солнца?) пятно, точно это был не пистолет, а насосавшаяся крови пиявка, выброшенная на соль.

Обратно я ехал вместе с Гумилевым. Между нами опять установились ровные приятельские отношения, как будто эта брошенная на соль снега пиявка дуэльного пистолета оттянула от наших затылков черную кровь ревности.

Эльга встретила нас весело, ни о чем не расспрашивала и только при прощании тихо сказала:

— Как вам не стыдно заниматься мальчишескими глупостями в такое время...

### XXIII. Поезд Пуришкевича

Мы уже собирались ехать и стояли в передней, когда задребезжал телефонный звонок.

— Подойдите, пожалуйста, и спросите, кто говорит, — попросила меня Эльга.

Я взял трубку, но ответа на мое «алло» не последовало. Только в ухе ноющей зубной болью отдался тугой камертонный звон заиндеветшей проволоки. Наконец, на третье «алло» послышался отдаленный, как будто из-за сотен верст несущийся, слабый, но отчетливый певучий мужичий говорок:

— Эй, малый... слышь штоль... скажи Ельке (я ясно разобрал — не Эльге, а Ельке)... пушай подойдет... Скажи, Григорь Ефимыч спрашивает... она знат...

Но Эльга и без того стояла рядом и брала из моих рук телефонную трубку.

— Григорий Ефимович?.. Здравствуйте, здравствуйте... Очень рада... Я давно уже жду вашего звонка... Заезжайте, непременно заезжайте, но только попоздней. До десяти вечера меня не будет дома... Что? Я не разобрала... Ах, вы опять про то же...

И Эльга вдруг расхохоталась в телефон неестественным смехом, какого я у нее никогда раньше не слышал, — с игривым вульгарным повизгиваньем, как деревенская девка, которую парень ненароком щипнул за грудь.

— Ну, хорошо, хорошо... До свиданья... Я сейчас уезжаю.

Трубка повешена, но Эльга как-то неестественно возбуждена, глаза ее блестят, губы улыбаются, движения порывисты — точно из телефонного аппарата она получила разряд электричества.

На Гумилева, так же, как и на меня, неприятно подействовал смех Эльги, и он брезгливо поморщился.

— Вы хорошо знаете, что он нам необходим для

нашего дела, — оправдывалась дорогой Эльга, — только через него сможем связаться с крестьянством. И потом только он один сможет нам устроить свиданье с «ним».

Слово «с ним» Эльга особенно многозначительно подчеркнула.

В молочном тумане блеснул золотыми звездами синий купол Измайловского собора и темной тенью, как часовой, вытянулся чугунный обелиск из турецких пушек. Вот и Обводный канал — место, где когда-то под брошенной бомбой разлетелась лакированная министерская карета Плеве.

Мы подъехали к Варшавскому вокзалу, но остановились не у главного подъезда, а у ворот, ведущих прямо на подъездные пути. Здесь во время войны грузились, обычно в сумерках, отходящие на фронт эшелоны запасных частей, гремела духовая музыка, перекатывалось ура, разливались разудалые песни, заглушавшие тихие подавленные всхлипыванья. Но теперь ни один паровозный свисток не разрывал молочный морозный воздух. Вокзал и полотно кажутся вымершими, хотя все пути загромождены пустыми неподвижными вагонами, теплушками, цистернами и платформами. С трудом пробирались мы по огромному железнодорожному кладбищу, пока нам не попался безногий инвалид в солдатской форме с георгиевской медалью на груди.

— Где здесь стоит поезд Пуришкевича? — спросил его Гумилев.

— Так точно, ваше высокоблагородие! — гаркнул инвалид, взяв под козырек. — Так что, разрешьте провести.

И не дожидаясь согласия, инвалид, переваливаясь, как Ванька-встанька, стуча деревяшками, юркнул под колеса вагона. Он ковылял так быстро, что мы едва поспевали и нагнали его только перед составом из нескольких вагонов без паровоза.

— Спасибо тебе, братец, — поблагодарил Гумилев и

сунул ему в руку скомканную ассигнацию.

— Рад стараться, ваше высокоблагородие! — гаркнул инвалид и исчез под колесами.

Эльга постучала стэком в одно из окон. Занавеска слегка приподнялась и в стекле показалось усатое одутловатое лицо. На площадку вышел рослый грузный военный в форме врача и открыл нам дверцу.

— Что вам угодно? Владимир Митрофанович занят и никого не принимает.

— Владимир Митрофанович сам назначил нам время приема на сегодня в десять часов утра. Разрешите с вами познакомиться. Ведь вы доктор Лазаверт? Тот самый...

— Да, тот самый, — угрюмо буркнул доктор, помогая все же Эльзе взобраться на площадку и пропуская нас в вагон. — Не засиживайтесь только у Владимира Митрофановича больше десяти минут. Он всю ночь работал и кроме того еще не совсем поправился после тифа и быстро утомляется.

Несмотря на день, все окна в вагоне плотно занавешены и свет зажжен. Вагон — бывший международный, с остатками былой роскоши, сильно потускневший и поизносившийся. Доктор Лазаверт, постучавшись, открыл дверцу одного из купе. Навстречу нам с дивана поднялся Пуришкевич — я сразу узнал его, хотя раньше видел только на карикатурах. Он галантно поцеловал руку Эльге и поздоровался за руку с Гумилевым и со мной.

— Садитесь, господа, садитесь. Предупреждаю, я очень занят и могу уделить вам не более десяти минут. А потому сразу к делу.

— Мы явились к вам, Владимир Митрофанович, по поручению Петроградской боевой организации, — начала Эльга.

— Таганцевской? — перебил Пуришкевич. — Знаю, знаю.

Я не столько слушал разговор, сколько с любо-



пытством рассматривал Пуришкевича. Он напоминал мне несколько Кульбина: тот же голый пергаментный череп и желтое, как у мумии, накрашенное румянцем, похожее на обезьянье, подвижное лицо. Одет он в походную форму и старается держаться по-военному сдержанно, но сквозь деланную выправку и собранность движений часто прорывается нервная торопливость и горячность, как у человека с повышенной температурой. Говорит он резким осипшим голосом, как военный, которому много приходилось кричать на морозе.

— Так, так. Все это прекрасно! Но что же вы хотите от меня? Из ваших слов я делаю вывод, что боевая организация рассчитывает на мое активное содействие и поддержку?

— Да, Владимир Митрофанович, мы все очень и очень рассчитываем на вас.

— Но я уже говорил Сергею Николаевичу Таганцеву, что стать во главе организации или принять в ней близкое участие я решительно отказываюсь. Вся моя жизнь до последней капли крови отдана России, и я не поколеблюсь выступить с оружием в руках, если этого потребует благо моей родины. Поручкой этому (Пуришкевич взял со столика из-под разбросанных бумаг револьвер) мой «Соваж», с которым я никогда не расстаюсь, даже в тифу лежал он у меня под подушкой и я в горячечном бреду сжимал его бессильной рукою... Но выступать с вами сейчас я отказываюсь. Да, да, отказываюсь...

Голос Пуришкевича вдруг сорвался и перешел в свистящий шепот, и он стукнул о столик рукой, звякнув браслетом.

— И знаете почему? Только потому, что я не верю в успех и считаю, что всякое открытое выступление сейчас бесполезно и невозможно.

Пуришкевич вскочил и заметался, как волк в клетке, по купе. Потом остановился у занавешенного окна и нервно забарабанил пальцами по столику.

— Вчера почти всю ночь я перечитывал свой дневник. Ведь вы знаете, сегодня, 16 декабря, исполняется пятая годовщина убийства Распутина. Медленно, как священник в страстной четверг двенадцать евангелий, перечитывал я, прерываемый хорами мрачных мыслей, свои отрывистые записи. Каждая фраза, каждое слово вызывало столько мучительных, страшных воспоминаний и призраков! И как раз забрезживший рассвет застал меня над заключительными словами: «Кто скажет? Кто ответит? Кто предречет поток событий в густом молочном тумане просыпающегося дня?» Эти же слова я повторяю себе и сейчас, как повторял их все эти пять страшных лет, носясь летучим голландцем со своим закрытым поездом, по равнинам обезумевшей России. И так же, как и тогда, я не нахожу на них ответа.

Несколько секунд Пуришкевич отвернувшись смотрел в занавешенное шторой окно и шептал про себя, как стихи, слова: «Кто скажет? Кто ответит? Кто сдернет завесу и рассеет туман, застилающий грядущие дали?»

Потом обернулся к нам и заговорил уже более спокойно.

— Не думайте, я не раскаиваюсь, я ни в чем не раскаиваюсь. Пусть вышло совсем не то, что я ожидал, и убийство Распутина оказалось прообразом других роковых ужасных событий. Я не колеблясь и сейчас совершил бы все то, что сделал в ту ночь. Я не раскаиваюсь ни в чем, но за эти пять страшных лет, носясь со своим поездом летучим голландцем по фронтам России, я многое перевидел, узнал и передумал. И когда, умирающий, я лежал в сыпняке и бредил в сорокаградусном жару, на меня вдруг нашло странное прояснение и успокоение. Я понял: мы все, вся Россия мечется в сыпнотифозном жару и бредит красным горячечным бредом. Красный сыпняк! Да, да! Мировая эпидемия красного сыпняка! Пусть перемрут все те, кто вынести его не в силах, и выздоровеют те, кто смог его перенести, и тогда эпидемия погаснет сама

собой. Больная, пошатываяющаяся на ногах от слабости Россия встанет и окрепнет для новой жизни. Нужно только верить и ждать. И когда я понял это, мне стало вдруг так легко и радостно, что я перестал ощущать тяжесть своего налитого раскаленным оловом тела и сорокаградусный бред сменился приятным спокойным сном.

Откинувшись на спинку сиденья, Пуришкевич с лукавой улыбкой смотрел на нас и играл лежащим у него на коленях «Соважем».

— И потому я не могу принять участия в выступлении вашей боевой организации, хотя и сочувствую вам всей душой. Нужно верить и уметь ждать, прежде всего уметь ждать, да иногда, как я, почитать на ночь стихи старика Горация. Что за прелесть, например, его строка — «*O navis, referent in mare te novi fluctus*» — «О корабль, новые волны несут тебя в море!» Разве это не современно?

— Но до каких же пор, Владимир Митрофанович, должны мы ждать? — перебила его Эльга.

— А этого я уже не могу сказать. Время покажет. Однако извиняюсь. Я проболтал с вами уже двадцать минут. Мне нужно ехать сейчас в Таврический дворец для доклада в комиссии Мингарева.

— Сергей Николаевич Таганцев просил нас напомнить вам, Владимир Митрофанович, что вы обещали быть у нас сегодня вечером на совещании.

— Помню, помню и не обману. Пока же до свиданья. Желаю вам успеха.

Пуришкевич опять поцеловал руку Эльге и проводил нас до двери купе.

Выходя из вагона, мы увидели доктора Лазаверта, возившегося около автомобиля, на котором большими красными буквами было написано: «*Semper idem*».

— Семпер идем. Всегда тот же. Не думаете ли вы, Николай Степанович, что Пуришкевичу следовало бы теперь переменить свой девиз? — усмехнулась Эльга.

Когда мы пробирались к выходу, сзади нас из-под колес опять вышмыгнул безногий инвалид. Он кричал нам что-то вдогонку и грозился деревяшкой.

На мосту через Обводный канал нас обогнал несущийся полным ходом автомобиль: в нем сидел Пуришкевич, а вместо шофера правил доктор Лазаверт. Они как будто не заметили нас и скрылись за поворотом.

## XXIV.

### Компресс из резиновой гири

Широкий стол накрыт суровой, вышитой по краям, скатертью и уставлен расписными деревянными блюдами и ларцами с позолотой и затейливой резьбой в ложно русском стиле. Посредине на круглом серебряном блюде кутя, вокруг бутылки с винами и наливками, торты, пирожные с шоколадным и розовым кремом, а среди них каленые яйца, кислая капуста и соленые огурцы. На табурете кипит пузатый никелированный ведерный самовар, а в углу под киотом с полотенцами стоит граммофон с огромной, крашеной в полоску трубой. Нарочито аляповатая, как на сцене, безвкусица купеческих не то именин, не то поминок.

Я прислушиваюсь к голосам, доносящимся из-за запертой двери. Там идет какое-то важное конспиративное заседание, в котором, кроме приехавшего Пуришкевича, участвуют Эльга, Гумилев, проф. Таганцев, полковник Шведов и еще двое незнакомых мне лиц. Голоса то стихают, то повышаются до резких нот. Чаще всего слышится хриплый лающий голос Пуришкевича и раздраженный взволнованный голос Эльги. По-видимому, идет жаркий спор, но слов разобрать нельзя.

Мне очень хочется узнать, в чем дело, и я, подкравшись на цыпочках, осторожно прикладываю ухо к замочной скважине, но быстро отскакиваю в сторону, напуганный неожиданным шумом.

Проклятый граммофон! Как он меня напугал! Встряхнувшись от моих шагов, он вдруг захрипел всю свою каучуковую глотку американский марш «Янки-дудль».

Я хочу остановить граммофон, но в ушах раздается певучий мужичий говорок, тот же самый, который я слышал сегодня утром по телефону, только более четкий и громкий:

— Елька дома?

Обернувшись, я вижу в дверях столовой чернобородого мужика в меховой шубе, похожего не то на торговца, не то на диакона богатого прихода.

— Ну, чаво вылупил буркалы-то? (и он досадливо махнул красным платком на граммофон, который мгновенно умолк). Не знаешь штоль, кто я таков. Ступай докладывай Ельке, Распутин, мол, Григорь Ефимыч пожаловал.

Распутин сбросил на диван меховую шубу и сошвырнул с ноги один бот (другого бота у него почему-то не оказалось), потом подошел к трюмо и разгладил рукой волосы и бороду. На нем была шелковая кремовая рубаха, подпоясанная малиновым с кистями поясом, и бархатные навыпуск брюки, из-под которых щегольски поскрипывали гармонии тяжелых сапог.

— Ну, чего стоишь? Поворачивайся живком, сказано тебе — зови сюда Ельку.

Я ответил, что Эльга на заседании и скоро выйдет.

— Зосядат, зосядат, — передразнил Распутин. — Не бабьего ума то дело — секретные речи вести. Все одно без меня, мужика, не обойдется. Ну-ка, налей мне мадеры.

Я налил чашку и подал ее Распутину, но он остановил меня:

— Сперва сам испей, я опосля. Всю до доньшка. Дайкось, я сам налью, а то ты еще подсыпешь какой порошок. Знаю я вас, все вы тут подговоренные.

Распутин залпом выпил чашку мадеры, рыгнул и обтер губы вышитой полой шелковой рубахи.

— Седни утрием это ты в трубку разговаривал? — обратился он уже более приветливо ко мне, буравя меня алмазными сверлами своих блестящих пронзительных глаз. — Ты что ж при Ельке вместо пробника состоишь? Для других ей хвост обнюхивашь?

И, прибавив смачное непечатное словцо, Распутин осклабился, и вокруг его глаз заморщились лучинки смеха. Потом, ласково потрепав меня по плечу и приблизив ко мне почти вплотную свое лицо так, что я отчетливо различал каждую оспинку на его большом ноздреватом носу, желтый узелок родимого пятна у правого глаза и закрашенный белой мазью и присыпанный кровоподтек на виске, он зашептал вкрадчивым и елейным речитативом.

— А ты мотри не больно к Ельке-то липни. Закрутит она тебя, пропадешь нипочем у меня на Гороховой. Эх, парен, парен, жалко мне тебя! Насквозь я твое нутро вижу. Грешишь низом, а сам ответу боишься. А ты не робь. Все мы лакомы до бабьего секелька, как пчелки до меда стebelька. Ты скрозь грех, как скрозь дым, иди. Потепли свечу, сотвори молитву «Рай земной, не отступи от меня, будь во мне» и иди. Он к тебе и не пристанет. Как в баньке на полку, чище телесами станешь. Приезжай ко мне с Елькой на фатеру. Я те моей крещенской водицей из пролуби напою и спрысну. Как рукой снимет мраченье, одно веселье да легкость на душе останутся. Без вина пьян будешь, загудут сами ноги в пляс...

Распутин точно преобразился. Только что он смахивал на загулявшего ярмарочного торговца красным товаром или на пройдоху подрядчика, спрыскивающего с инженерами выгодно сделанный казне подряд.

Сейчас же он походил на раскольничьего начетчика, сектанта-изувера, прячущего под черной поддевкой и сухим догматизмом книжных изречений скрытый пламень, готовый снизойти на головы своих приверженцев языками пожара среди ночного хлыстовского радения или излиться на них кровью малой и большой печатей.

Лежащая на столе тяжелая ширококостная рука Распутина, крестьянская, несмотря на холеную белизну и сделанный какой-то великосветской поклонницей маникюр, взлетела со скатерти и на меня вместе с запахом одеколона и помады пахло из-под широких рукавов его рубахи едким перегаром мужицкого пота.

— Не бойся, примай благословенье-то, — властно и ласково шепчет Распутин.

Я вижу его узкие бледные, полуоткрытые, как для христосованья губы, черную, лоснящуюся на шелковом кремовом фоне бороду и морщинистые впалые, небольшие, светящиеся, как у волка, глаза и покорно тянусь к его широкому большому туловищу.

Но принять благословение я не успел: дверь отворилась и в столовую вышли участники заседания.

Увидав Пуришкевича, Распутин, как плясун в гопаке, быстро переметнулся в сторону выхода. Все растерялись и молча выжидали, что будет. Только в лице Эльги мелькнуло, как мне показалось, какое-то злорадство, точно она нарочно подстроила эту неожиданную встречу.

Несколько секунд враги, точно меряясь силой, пристально смотрели друг на друга. Распутин был бледен, Пуришкевич же побагровел так, что даже шея у воротника стала малиновой. Он выхватил из кармана френча свой «Соваж» и трясущейся от волнения рукой направил револьвер на Распутина, который вдруг оторвался от косяка и, вылетев на середину комнаты, ударяя себя кулаком в грудь, закричал высоким, как свиной визг, фальцетом:

— Стреляй! Стреляй! Думашь — испугашь! Што,

взял? Думал без меня лутче будет... Где твой царь, где твоя старопрежна Рассея с мундирами да еполетами? Я — один мужик — держал вас на горбу. Разлетелись без меня по ветру прахом, и косточек ваших не соберешь... Не ндравилась масленица Гришки Распутина, пришел великий Ленинский пост...

Лицо Пуришкевича передернулось судорогой и он, сразу придя в себя, сунул «Соваж» в карман и, отстраняя Распутина жестом гадливости и отвращения, твердым шагом направился к выходу. Гумилев, Таганцев и полковник Шведов кинулись за ним. Эльга же подошла к Распутину, тяжело опустившемуся на диван и отирающему платком потное, как после бани, лицо.

— Ну, ладно, ладно, проси прощения, — говорил Распутин оправдывающейся Эльге. — Вижу, что не забыли. Годовщинку по мне справляшь. Кутью сварила. Спасибо, душка, спасибо. И я тебя не забуду. Ну, спаси ты Христос! — и он три раза, точно христосуясь, облобызался с Эльгой. — Хозяюшка в дому, как пчелочка в меду. Садись за стол, угошшай поминальника. По-нашему, по-сибирскому... Поелозьте наши гости! Сами знам, налягам, наелызгались досыту...

С добродушным смешком Распутин, широко перекрестившись, уселся за стол по правую руку Эльги рядом с ведерным самоваром, недружелюбно покосившись на вернувшихся в комнату Гумилева, Таганцева и Шведова. Эльга пододвинула к нему кутью. Откинув широкие рукава рубахи, Распутин благословил блюдо, и Эльга наложила кутью на тарелочки каждому из гостей, как пасху. Все чувствовали себя неловко и не знали, что с ней делать. Один Распутин ел, пил и говорил за всех. Он стаканами пил мадеру, закусывая вперемежку то тортом с пирожными, то кислой капустой и солеными огурцами, и ластился к Эльге, поглаживая под скатертью ее обтянутые шелковой юбкой колени.

Эльга покорно сносила его ухаживанье и только изредка тихо отстраняла слишком назойливую руку.



— Ух, кака манерна! — шепотком говорил ей Распутин. — Припала ты мне к душе, пригнулась, касатка-ласточка. Радошен я теперешний час, весел. Троеденный срок гулять мне даден, надуши меня своей ласкоткой, приезжай ко мне на свиданку-то...

Потом, вспомнив, очевидно, встречу с Пуришкевичем, Распутин от ласки перешел к упрекам.

— Пошто ты спуталась с Пуришкевичем? Што он супротив меня моет? Чаво он умет, окромя как балясы точить в думе, да охальничать пистолем. Нет, душка, без меня не обойдешься. Я один ее, революцию-то наскрозь вижу. Нешто дал бы я Миколаю с Ерманией воевать, кабы меня сумашедша баба ножиком не пырнула. А кабы они не кинули меня с мосту в пролубь, нешто допустил бы я революцию? Не, душка, у меня все на примете было, да они, дураки, изгадили мое дело. Хошь, выведу на чисту воду твоих ерников?

И, лукаво подмигнув Эльге, Распутин обратился к сидящим на другом конце стола профессору Таганцеву, полковнику Шведову и Гумилеву.

— Вот вы люди ученые, военные, а можете вы задачу решить, отколь у нас в Рассее революция пошла и куды ее обернуть можно? Не знате, молчите. А я вот простой мужик, челдон, а знаю... От черного хлебца она пошла, от мучки. Помните, небось, очередя-то за хлебушком в Питербурхе? И ничем ее унять нельзя, окромя как хлебцем да мучкой. А у кого хлебец да мучка? У мужичка-кулачка. И выходит на поверку, что вам без меня никак не обойтись. Трудно понять все это. Кто уразумет, то и разумей...

Распутин, видимо, охмелел и стал икать.

— Кваску бы холодненького... Горит во мне все. То в огонь, то в лед бросат. Спокою себе не знаю...

Он тяжело облокотился о край стола и затянул высоким мужичьим фальцетом какую-то сибирскую песню, в которой вместо слов слышались одни только тягучие буранные перекаты гласных.

— Обноси по рядовой! Давай плясовую, цыганску! — стукнул он кулаком по столу.

Эльга послушно встала и сама завела граммофон, из трубы которого полились хриплые вскрики и визги цыганского хора.

Распутин, пошатываясь, вывалился на середину комнаты и стал подплясывать, ударяя в ладоши и покрикивая: «Ай транды, каланды мои!»

Вдруг среди пляса, побледнев и закотив глаза, он начал рвать на себе одежду, как охваченный пламенем. Потом, в припадке падучей, грохнулся на пол и, дергая головой, скрежеща зубами и скребя паркет вытянутыми вперед руками, силился на брюхе доползти до разостланной у дивана шкуры белого медведя.

Эльга с криком бросилась к Распутину. Общими усилиями мы подняли его тяжелую тушу и положили навзничь на шкуру. Распутин тяжело дышал, высоко поднимая грудь и передергиваясь в судороге, потом слегка приподнял голову и забормотал, одергивая рубаху:

— Гирьку... Гирьку... Кровь оттянуть...

Эльга сразу догадалась и вытащила из кармана его бархатных брюк черную резиновую гирю.

Распутин судорожно схватил ее и с остервенением стал бить себя со всего размаха по правому, подмазанному белилами виску, покрикивая от удовольствия, как парящийся веником в бане.

— Ничего, ничего, — остановила нас шепотом Эльга, — это поможет ему вместо компресса. Он сейчас придет в себя.

Действительно, Распутин скоро пришел в себя и, поднявшись, потребовал снежку и кваску. Умывшись свежим, принесенным с улицы в тазу снегом, он вытерся полотняным узорным полотенцем, снятым Эльгой с образов, и стал жадно пить прямо из горлышка графина поданный ему квас.

— Ух, как меня разобрало. Сшалел я. Насилу отошел,

и сейчас шумят угары в голове. Ну, спасибо, милка, за угощение. Пора и ко дворам...

Распутин нащупал ногой единственный свой бот, надел меховую шубу и, поцеловав Эльгу в щеку, двинулся к выходу. В дверях он обернулся и крикнул Эльге:

— Приезжай ко мне, милуша, на Гороховую. Аось, сговорчивей будешь. Только мотри не ошибись номерком, не в ту баньку попадешь...

Полковник Шведов и я проводили Распутина до автомобиля. Влезая в него, Распутин поглядел на морозное звездное небо с запрокинутым серебряным ковшом Большой Медведицы и сказал, позевывая и крестя рот:

— Сохач встал на дыбки. Светать скоро начнет. Нонешний год урожайный будет, лед замерз темный и куржак на деревьях. Скажи шоферу, пушшай меня в Царско село везет, в мавзолей (он сделал ударение на о — шофер и мавзолей).

Захлопывая за Распутиным стеклянную дверцу, я заметил оттиснутую на автомобиле золотом литеру «Д» с короной наверху.

## XXV.

### Фазан с царской охоты

Ледяная гладь залива застыла зеркальным катком и блещет под холодными полуденными лучами низкого полярного солнца. Еще не лег жесткой коркой снеговой наст, не навьюжило сугробов, еще не нашвыряли льдин теплые западные штормы — ровная стеклянная поверхность, кажется, нарочно отлита для тройного алмазного резца, для безудержного скольженья некрепнящихся зимних яхт. Редкостная золотая пора для буерного спорта: вобрав морозный ветер в полог заиндедев-

шего паруса, перепархивая через полыньи, можно нестись мимо Лисьего носа вдоль финских берегов далеко, далеко на запад, к Биорне и Ганге, туда, где в соленых майнах зимуют обледенелые дредноуты и миноносцы...

Медленно развивая ход, выплывает буер из-под берега Крестовского острова. Рулем правит полулежа Комаров. На легкой деревянной решетке, на ковре, прикрывшись меховыми дохами, лежат Гумилев и Эльга. Лед под солнцем блестит так, что больно глазам. Дует резкий пронизывающий ветер, но мне тепло от тела прильнувшей Эльги. Несколько буеров идут нам наперерез, не то сопровождая, не то обгоняя. Я люблю их ходом: совсем, как яхты, только без крена и без струи воды под носом, изредка разве при повороте забелеет под рулем у конька легкое ледяное кружево.

Скоро мы оставляем их позади и выходим на середину залива.

— Вы не замерзли? — спрашивает Эльга. — Не хотите ли чаю с ромом?

Гумилев достает термос, и мы все по очереди вслед за Эльгой делаем по несколько глотков. Сразу же становится тепло, хочется лежать неподвижно и дремать под скрежет коньков и убаюкивающее потряхиванье. Вдалеке виднеется не то Стрельна, не то Петергоф. Буер начинает лавировать, меняя галсы и останавливается, врезавшись в снежную косу у низкого лесистого берега. Неприятно покидать нагревшееся меховое логово, вылезать на мороз и ветер.

Комаров остается у буера, Гумилев, Эльга и я на лыжах забираемся на берег. Они оба скользят очень легко, едва касаясь снега, я же цепляюсь, спотыкаюсь и отстаю.

Скоро мы вышли из мелколесья к широкой сосновой просеке. Гумилев взобрался на бугор и затрубил в охотничий рог. Ударяясь о сосновые стволы, мелодичный тугой звук звонко прокатился по лесу и замер в густом синем ельнике. Гумилев протрубил еще раз и

прислушался. Издалека из-за ельника слабо отозвался ответный рог, который можно было бы принять за эхо, если бы не сопровождающее его еле слышное залихватое собачье тяканье. Перекликаясь, звук стал приближаться и вскоре из ельника выкатился человек на лыжах, в остатках формы не то лесничего, не то егеря, в финской шапке с наушниками, с ружьем и двумя гончими собаками на смычке.

Переговорив о чем-то с Гумилевым, он повернул обратно в лес. Мы последовали за ним, стараясь не отставать.

Несмотря на мороз, небо у темно-зеленых проволочных верхушек сосен и елей какого-то удивительно густого, теплого синего цвета, точно крымское, и мреет вихревым фиолетовым куревом, точно в зной на хребте Яйлы. Лесная тишина нарушается только скрипом лыж, да треском стреляющих от мороза стволов. Даже гончие смолкли и, зазябнув, вместо лая выпускают из горячих красных ртов клубы пара.

Шедший впереди егерь приостановился. Собаки обнюхивали ямку в снегу, вокруг которой темнели следы крови и валялись птичьи перья.

— Лиса, стерва, сожрала тетерева, — сплюнув, пояснил егерь. — Ну, попадись только мне, длиннохвостая.

Низкое декабрьское солнце, побагровев, уже спускалось к горизонту, и от малиновых стволов сосен упали на снег лиловые балки теней, когда мы подошли к лесной сторожке, запрятавшейся в сплошной заросли молодых елок. Егерь нажал щеколду и, открыв дверь, пропустил нас в горницу, поставив наши лыжи стоямя у стенки снаружи.

Внутри было темно, низко и тесно, как в деревенской бане, и пахло овчинами, дегтем и псиной. Почти половину помещения занимала большая русская печь с лежанкой. В ней еще теплился огонь и егерь подбросил охапку сухого елового хвороста, который тотчас же ярко вспых-

нул и осветил бревенчатые стены с иконкой Николая-чудотворца в углу, с чучелом рогатой головы лося и фотографией под стеклом в рамке. Под головой лося я прочел на медной дощечке дату великокняжеской охоты, а на фотографии перед двумя тушами убитых охотей узнал характерную долговязую фигуру великого князя Николая Николаевича и среди солдат-егерей нашего хозяина, — то же усатое фельдфебельское лицо, только много помоложе. Егерь пододвинул к печи деревянную лавку, приглашая нас сесть пообогреться, потом отцепил от пояса убитого зайца и, отрезав ножом у мерзлых лапок пазанки, бросил их, цыкнув, собакам, которые улеглись грызть их в угол за печкой.

— Придется обождать, ваше высокоблагородие, пока солнце сядет, а то он в руки ни за что не дастся.

Говорит егерь почтительным тоном старого вышколенного служаки, но с сознанием собственного достоинства — и не с такими, мол, людьми дело имели.

— Прежде этих самых фазанов тут сотни водились. Придут, бывало, их императорское высочество, десятка два сразу настреляют. Потому уход был, присмотр и корма хорошие. А теперь всех распугали. Которые с голоду подошли, которые померзли, которых лисы поели. Почитай только и остался один мой фазанник, да и в ём одни последки. Кабы не ваше дело такое, нипочем бы не отдал.

Сидеть в тепле пришлось недолго. Егерь докурил трубку и вынул из кармана серебряную луковичу призовых часов.

— Пора, ваше высокоблагородие... Тубо, — цыкнул он на поднявшихся было собак.

Мы с Гумилевым вышли вслед за егерем, оставив Эльгу греться у печки вместе с двумя гончими.

Уже свечерело и желтый ответ заката мешался с голубым блеском наливающегося серебром месяца. Поскрипывая снегом, пошли мы по тропке через ельник к поляне, где виднелись какие-то строеньца, похожие

на птичник. Егерь велел нам остаться на опушке, а сам пополз, осторожно раздвигая мохнатые ветви. Минут через десять он вернулся, держа в руках бьющуюся тревожно птицу, оперенье которой и в сумерках отливало драгоценным металлическим блеском.

— Давайте сюда сетку, ваше высокоблагородие.

Егерь осторожно засунул в сетку фазана, запроляя неумещающийся длинный хвост. Потом завернул сетку в холщевый мешок и осторожно, стараясь не трясти, понес к сторожке.

Обратно к заливу мы пошли в сопровождении вызвавшегося нас проводить егеря. Он скользил на лыжах, хотя и быстро, но так ровно, что сетка у него на боку почти не тряслась и фазан не трепыхался. Идти было светло, как днем, от мерцания снега и голубого света луны с туманным кольцом вокруг на аспидно-синем небе. Иней на хвое искрился, как посыпанная блестками вата на рождественских елках. Разреженный морозный воздух, казалось, улетучился, оставив легкую эфирную оболочку вокруг серебряной земной поверхности.

Вдруг егерь пронзительно свистнул, точно призывая оставленных в сторожке собак. По бугру метнулись, отрываясь друг от друга, две голубые тени, похожие на собачьи и вспыхнули красноватые огоньки.

— Волки, — сказал егерь. — Не опасайтесь, ваше высокоблагородие, не тронут. Им не до нас. Они теперь свадьбу справляют. С Крещенья — самая волчья Красная Горка. А ежели что, так у нас ружье есть. Да и волк мелкий, польский. С фронту набежал..

За опушкой блеснула окутанная вуалью лунной дымки ледяная гладь залива и багровый отсвет, точно бакен костра, разожженного Комаровым. Егерь передал Гумилеву сетку с фазаном, наказав идти осторожно и не ушибить птицу и, пожелав нам счастливого возвращения, повернул обратно в чашу.

Загасив костер снегом, мы откатили буер от снежной

отмели и тронулись в обратный путь. Ветер спал и буер пошел значительно медленнее. Лежа под голубым заиндевшим парусом, я укрылся с головой в одеяло и, согревшись, задремал. Мне примерещилось два не то кошмара, не то миража. Мне чудилось, что я проснулся от страшного грохота и гула, точно под нами треснул лед. Эльга, стоя у паруса, что-то кричит, но слов ее разобрать невозможно. Гумилев и Комаров, хлюпая водой, селятся стащить с места буер, засевший около кучи темных навороченных льдин. Со стороны Кронштадта гудит канонада и, пересекаясь клинками, неистово рубят темноту белые мечи прожекторов. В свете одного из них я увидел делающие перебежку цепи сгорбленных людей в белых балахонах, похожих на мертвецов в саванах... Второй раз мне снилось, что за буером гнались, шаркая о лед гвоздями когтей, волки. Один из них вспрыгнул на буер и ухватился зубами за сетку с фазаном, а другой, с дымящейся лиловой пастью и вздыбленной, голубой, как у песка, шерстью, вцепился жгучими, как порезы стекла, зубами мне в ногу.

— Вставайте! — трясет меня за плечо Эльга. — Мы приехали.

Я вскакиваю, чувствуя, что правая нога у меня затекла и замерзла, высунувшись из-под крова, и вижу, что буер стоит у яхтклуба на Крестовском острове.

## XXVI.

### Бутылка с крещенской водой

— Это я, Варечка, — Эльга Густавовна. Отворите. Григорий Ефимович дома?

Дверь (с оборванной обивкой из лилово-малинового, камилавочного цвета войлока на медных гвоздиках и



желтой толстой, как костяной набалдашник, кнопкой звонка слева) слегка приоткрылась на железной цепочке и в просвете щели показалась девичья голова, связанная белой коленкоровой косынкой.

— Папенька отдыхают. Не велели никого принимать.

— Ничего, Варечка, меня он примет. Я посижу, пока он не проснется.

Эльга ласково поздоровалась с девушкой, поцеловав ее, но не в губы, а в лоб.

— Ну что, как ваше здоровье, Варечка? Лучше? Все кашляете?

Девушка действительно закашлялась сухим горловым кашлем. Когда она отняла платок от губ, на нем выступило темное, похожее на кровавое, пятно.

— Это младшая дочка Григория Ефимовича, — шепнула мне Эльга. — Бедняжка в последней стадии чахотки. Только и держится внушением отца.

Девушка — высокая и тонкая, со смуглым простым миловидным лицом и с выразительными глазами, напоминающими распутинские, но только пугливыми, избегающими встречного взгляда. Белая косынка и передник делают ее похожей на сестру милосердия или прислужницу в храме.

В комнате — куда она нас провела (направо, с двумя окнами во двор), — полный беспорядок: на столе — остатки еды и закусок, винные бутылки, недоеденные куски тортов, недопитые стаканы и рюмки, разбросанные окурки папирос; на полу — осколки разбитого стекла и следы рвоты, в которой валялась выпавшая роговая шпилька.

— Извините, Эльга Густавовна. Не успела прибрать. Вчера у папеньки были гости.

— Ничего, ничего, Варечка, не беспокойтесь. Мы здесь посидим в сторонке, подождем.

Эльга о чем-то пошептала с девушкой и та, еще раз закашлявшись, скрылась в прихожей.

На цыпочках Эльга подкралась к неплотно затворен-

ной двери в соседнюю комнату и, сделав мне знак рукой, шмыгнула в темноту.

Спустя несколько минут оттуда послышалось тяжелое скрипенье кровати и испуганный окрик Распутина:

— Кто тут? Што надоть?

Потом тон голоса сразу переменялся на радостный.

— Елька! Огонь-девка! Приехала, не оманула...

Распутин заговорил тихо, в чем-то убеждая Эльгу, и вдруг выкрикнул кликушески-страстно:

— Пошто мучишь? Доколь я коло тебя ходить буду?

Послышалась возня и в столовую выскочила Эльга, за ней, ударившись о косяк, ввалился бледный взлохмаченный Распутин в парчевой серебряной рубахе с расстегнутым воротом, без пояса, в черных плисовых шароварах и цветных носках. Попав сразу на свет, он очухался и бросил преследовать Эльгу.

— А, и ты, дрючок, тута. Сидишь, окарауливашь, — недовольно и презрительно обратился он ко мне, потом с раздражением начал выговаривать Эльге.

— Ты што забываешься! Дерешься, царапашься, ровно кошка. Вишь каку рябину отпечатала перстнем у глаза. Ишь кака фря, недотрога. И почище тебя фрелины под меня ложились. Самою царицу на руках носил, прижимал, целовал.. Злюсь я на тя. Пошто любви моей чураешься? Все заповеди покорны любви. Одна любовь и существует на свете. Душа без любви, что колокол без серебра.

Распутин, видимо, поостыл и, икая, тяжело опустился на стул около Эльги.

— Ну ладно, ладно. Не ластись. Будь по-твоему. Не хошь ко мне в ондельну горницу, давай тута толковать о деле при свидетелях. Опосля отблагодаришь. Привезла штоль подарок-то? Показывай.

Эльга вынула черный футляр с бриллиантовыми серьгами. Распутин взял своими толстыми пальцами одну серьгу и, сощутив глаз, начал ее рассматривать на свет. Он забыл про свой припадок страсти к Эльге

и весь отдался созерцанию крупных бриллиантов. Теперь это был уже не бесшабашный гуляка, хлыст, а скаредный хищный мужик-стяжатель.

— Сколь каратов-то в их? Пятьдесят тыщ, говоришь, стоят. А не фальшивые они, не поддельны? Мотри, надуешь, тебе ж хуже будет... Ну, ну, не обижайся. Знаю, не оманешь.

Распутин со вздохом бережно положил серьги в футляр.

— Эх, сколько я этого добра переслал в Покровское к Федоровне. Горы цельные, мебель, ковры, пьянино, картины, посуда серебряна, хрусталь, золото. И денег поболе сотни тыщ лежало в банке. Все сожрала проклята корова фараонова — революция... Ох, горе мятущимся и несть конца.

Распутин с досады сплюнул и хлопнул широкой ладонью по столу, отчего вся посуда зазвенела, а одна недопитая бутылка упала и разлилась на скатерть.

— Тужи — не тужи, толк один. Давай лучше уговор кончать. Помнишь, што я тебе сказывал про мужичью мучку-то? Так вот, спылай парня за ладанкой. Достанете, ваше счастье, нет, поминай, как звали... А к царю я тебе напишу скороспешну записку и водицы крещенской пошлю ему в подарок. Эй, хто там?

В столовую вошла Варвара.

— Почему сама идешь? А чесменски богаделки где? Небось, все по церквам шатаются... Кака ты у меня фуденькая. Кашляешь все? Ну, ну, ничего, сейчас отойдет.

Распутин положил руку ей на голову и ласково заглянул в глаза. Девушка перестала кашлять и застенчиво улыбнулась.

— Поди принеси чернила, да достань из-за кивота бутылку с крещенской водой.

Девушка принесла чернильницу с пером и листок почтовой бумаги, потом еще раз вышла и вернулась с бутылкой из-под водки.

Распутин взял бутылку, заткнутую тряпочкой, и посмотрел на свет.

— Вишь, какая чиста, ровно водка. Пятый год стоит и не мутится. Особенная водица, благодатная. Из пролубли, куда меня с мосту бросили, Варвара зачерпнула. Господи, сними тяготу связи земной.

Он перекрестился и поставил бутылку на стол. Потом раздвинул посуду, неловко захватил в толстые пальцы ручку, обмакнул ее в чернила и начал медленно, со вздохом, точно священнодействуя, царапать большие каракули. Окончив писать, подпер голову рукой и задумался.

— Невероятно это даже. Предупреждал я их. Ежели меня не будет, и вас не будет, как моя смерть, така и ваша. Вот и вышло по-моему. Одним керосинцем миропомазали нас на царство небесное... А ты, думаешь, мне не обидно? Всю жизнь бился хоть бы бисеринку посеять истины. Пошто они меня позорили, жгли, как Гришку Отрепьева и мавзолей мой (он сделал ударение на «о» — мавзóлей) рушили... Все венцы, значит, кровью достигаются... Ну, бери записку-то и бутылку. Самому ему в руки отдашь. А птицу не забудь зерном покормить с креста. Христос с тобой. Опосля сосчитаемся. Чать еще будешь у меня... Недужится мне седни после вчерашнего.

Он облобызал Эльгу в щеку, но провожать нас не стал и ушел в темную комнату. Когда мы вышли на лестницу, Эльга по моей просьбе показала мне записку Распутина. Наверху стоял крест, а под ним розвальни каракуль:



Папе маме алеши  
Ольги Татьяне Марии Анастасьи

Испейте водицы крещенской исцеление язв огненных венеч ваш и покой получите Единакупно с вами енергично молюсь Господу

Григорий Распутин-Новый.

## XXVII. Ливадийские розы

— Но где же яхта? — беспокоится Эльга. — Уже половина первого ночи...

Грудно поверить, что полночь. Не то золотой вечер, не то розовый рассвет. Только на короткое время, в промежутке между двумя зорями, набежало что-то похожее на легкие сумерки — полутень, полумгла, завуалировавшая сиреневое перламутровое небо. Западная половина неба еще горит непогасшей вечерней зарей, а на востоке уже занялась утренняя, золотисто-палевая, необычайно нежная по своим цветам и оттенкам. Не с этой ли небесной палитры брали в старину краски новгородские иконописцы?

Петербургский парк безлюден, не слышно птиц, неподвижна листва, деревья не отбрасывают теней, только пущенные зачем-то фонтаны бьют, как во время гулянья.

— Есть... Ошвартована у пристани. Идемте к берегу...

И Комаров показывает в сторону моря, закрытого от нас зеленью и фонтанной пылью. Под пригорком дворцовой площадки в широком бассейне на каменной глыбе великан Самсон раздирает мощными руками пасть льва, изрыгающего фонтаном китовую струю. Позолота с плеч Самсона пооблезла и он кажется уже не золотым, а вымазанным желтой глиной. Некоторые обнаженные статуи еще блещут золотом, другие уже покрылись зеленоватой окисью. От розового дворца к взморью тянется водная аллея-канал, обсаженная голубыми елями и стеклянными гейзерами, бьющими из замшелых камней. Берег речной, низкий, поросший осокой, совсем не морской. Впрочем, и вода здесь пресная, невская, с легкой, почти незаметной примесью горькосоленой лазури. Пристань деревянная,

некрашенная, на сваях, похожая на большую затонувшую баржу с грузом камней.

— Раньше здесь была прекрасная пристань, но ее разбило в наводнение 1924 года, — поясняет, как бы извиняясь за беспорядок, Комаров.

Ошвартовавшись пеньковым удавами канатов о деревянные тумбы, как волжский теплоход, неподвижно, без качки стоит у пристани щегольская паровая яхта с высоким вызолоченным, как у цезарских галер, носом: «Полярная Звезда». По трапу вслед за Комаровым всходим на лоценую, как бальный паркет, палубу. У Эльги кожаный ручной саквояжик, у Гумилева же сетка вроде ягдташа, в которую зачем-то завернут трепещущий фазан.

Яхта такая же безмолвная, золотая и загадочная, как эта летняя белая ночь. Приглушенно, еле слышно пульсирует машина, тихо бурлит винт, газовой вуалью стелется дымок из черной трубы, застыл в стеклянной рубке рулевой и только изредка молчаливо пробегают растрепанные молодцеватые матросы. Кажется, что они неподвижны, и это отплывает, удаляясь, зеленый кит берега, брызгая из золотой ноздри струей фонтанов.

Гумилев выпустил на палубу спутанного сеткой фазана, который выпрямляется, отряхивает перья и осторожно пробует двигаться. Я рассматриваю его роскошное червонно-радужное оперенье, и он кажется мне драгоценным слитком, осколком сказочной северной ночи. Фазан вытягивает свою крошечную зелено-голубую голову с жалом белого клюва и пристально, по-змеиному смотрит на меня стеклянными, светло-желтыми глазами из очкообразных малиновых подглазников. Белое кольцо на его шее у зоба намечает как бы место для удара косырем — если бы фазанам рубили головы, как курам. Фазан, точно уловив мою невольную мысль, попятился от меня, выправил свой крышеобразный раздвоенный на конце хвост и стал рвать шпорами ног опутавшие его тенета.

— Не надо его нервировать. Он еще нам пригодится, — остановила меня Эльга.

Яхта прошла мимо Кронштадта неподалеку от стоящего на рейде дредноута, похожего на огромный стальной утюг! Чудовищные хоботы 15-ти дюймовых орудий заворочались щупальцами, и двое матросов опроретью бросились приспускать в знак приветствия великобританский флаг. В бинокль я разглядел надпись на борту — «Queen Mary» — и вспомнил, что вот так же стоял этот дредноут из эскадры адмирала Битти около Кронштадта летом, накануне войны, когда я на парусной яхте из Стрельны ездил его осматривать. Вместе с ним были «Lion» и «Tiger». Кто из них (уж не «Queen ли Mary») погиб потом в Ютландском бою?

Нос яхты золотым волнорезом рвет по шву голубовато-молочную ткань залива. Вода тяжелеет и становится зеленой, более похожей на морскую, потом начинает синеть. Нежные тона неба тоже меняются и превращаются в более густые, теплые. Струя воздуха теплеет не по-северному. Да и на севере ли мы? Разве это белая ночь?

В подтверждение моих сомнений из клокочущего нарзана под золотым волнорезом выпрыгивает голубоватая спина дельфина. Он резвится, играет и куврыкается, работая лопастями хвоста, как винтом, и составляясь в скорости с яхтой. Рядом с ним выныривает второй и игра делается еще более резвой. Вдалеке на красновато-золотистом фоне зари вырисовываются мрачным акрополем лиловые очертания горного берега.

— Вы не догадываетесь, где мы сейчас находимся?

— Нет.

— Скоро будем подходить к Ливадии. Узнаете Ай-Петри? А вон там, правее, белеет Ялта.

Вдоль берега наперерез нам быстро идет небольшое военное судно — крейсер или миноносец. С бортов его взвиваются дымки орудийных выстрелов, тяжело, как валек, хлопающих о воду.

— Не бойтесь! Это холостые выстрелы, — поясняет Комаров. — Салют желтому с орлом штандарту в Ливадии. Тридцать один выстрел...

Обложившись дымом, как ватой, отсалютовавшее судно удаляется в сторону Ялты. Яхта приближается к берегу, мы спускаемся в катер и, догоняемые волной прибоя, соскакиваем по сходням на пустынный, заваленный щебнем гальки пляж. Направо громоздятся камнями развалины пристани с уцелевшим домиком, налево среди деревьев белеет облупленная колоннада. Проржавленный чугунный столб фонаря без стекол торчит, как гигантский засохший стебель. Мы поднимаемся по крутой узкой тропе, изредка натываясь на остатки обвалившихся ступеней, и выходим на усыпанную гравием дорогу с каменным водостоком на краю. Одичавший парк напоминает сухое чернолесье. Где-то в овраге шумит вода и цикады трещат так громко и с такой силой, что их можно принять за дергачей. Светло, небо розовеет, но солнца уже не видно.

Вот и площадка с цветниками перед Ливадийским дворцом, громоздким безвкусным зданием, напоминающим железнодорожный вокзал. За чугунной решеткой виднеется пустынный внутренний дворик с мавританскими, под Альгамбру, колоннами и крытой галереей, чахлый розариум и каменный фонтан посредине. Напротив церковь из белого инкерманского камня с высеченным крестом на стене и надписью; сквозь стеклянную дверь видны внутри белые колонны и пустой иконостас, паникадило, обращенное в люстру, развешенные плакаты и карикатуры — здесь теперь клуб и уголок безбожника.

На известковом источнике приклеена надпись: «Граждане, берегите воду». Я набираю в ладонь прохладную сладкую струю и жадно пью, стараясь не расплескать. Сзади ко мне тихо подходит какая-то белая фигура.

— Ничево... ничево, пейте досыта. Нам не к спеху, —



ласково говорит он мне, когда я отодвигаюсь, чтобы уступить место.

— А вы что, служите здесь?

— Нет, мы тут в санатории пользуемся. А сами мы крестьяне Воронежской губернии... Грудь у меня застуженная. Кашель и кровью харкаю. Ну, комиссия здравотдела и отправила меня сюды на поправку.

— А кто же у вас остался на лето хозяйничать дома?

— Жена, сын парнишка. Как-нибудь обойдутся. Вот подлечусь тут...

— А болезнь у вас с чего взялась?

— Болезнь-то? От белых, значит, от деникинцев прятался я осенью в болотах. Искали они меня, расстрелять хотели. Потому как я был в сельсовете, барскую усадьбу описывал... в девятнадцатом году...

— И много вас тут в санатории?

— Да поболее сотни будет... С разных губерний... Из нашего-то уезда только двое — я да еще один парень...

У него нездоровое, несмотря на загар, лицо, он отхаркивается и мягко шаркает одетыми на босу ногу сандалиями по гравию дорожки, как больной шлепанцами по палате. Он начинает пить, лоя ртом падающую из крана струю, а я тороплюсь догнать своих спутников, огибающих фасад дворца. На крыше мачтой торчит антенна, над воротами надпись красным: «курзал», в открытое окно видна люстра и портреты Калинина, Рыкова...

— Боже, что они сделали с дворцом! — возмущается Эльга.

За раскидистыми синими елями и веллингтониями в зелени и плуще прячется старый дворец, хотя и построенный под бахчисарайский ханский, но скорее напоминающий уютный помещичий особняк.

По разошедшей скрипучей деревянной лестнице мы поднимаемся во второй этаж в бывшую царскую опочивальню, где стоят две несуразные деревянные купеческие кровати с подушками и висят пестрые занавеси.

В комнате сумеречно и к затхлому камфарному запаху нежилого помещения примешивается ядовитый аромат цветников, проникающий даже сквозь затворенные окна.

У подножия потертого кожаного кресла на паркете обозначен черный крест. На этом месте умер когда-то Александр III.

Здесь покоилось его огромное, тяжелое, раздувшееся от водянки, как вымя, тело, которое потом, набальзамированное бронзой, водрузилось чудовищным конным городовым на Знаменской площади в Петербурге.

— Подождите, надо сначала окропить спальню. Так велел Григорий Ефимович.

Эльга вынула из кожаного саквояжика водочную бутылку с крещенской распутинской водой и несколько раз, как священник кропилом, крестообразно окропила комнату. Потом, наклонившись к кресту на полу, посыпала на него зерен.

— Давайте скорей фазана...

Эльга распутала фазана из сетки и поднесла к кресту. Фазан жадно начал клевать зерна. Когда их больше не осталось, Эльга налила на блюдце воды из бутылки и поднесла фазану, который так же жадно стал пить, запрокидывая голову и смакуя по-куриному клювом.

— А теперь скорее в розариум.

Эльга волнуется и торопится, точно боится, что у нее не выйдет какой-то сложный фокус или что ее захватят на месте преступления.

Около дворца по обеим сторонам аллеи виноградником раскинулись цветущие штамбовые розы. Выпущенный на свободу фазан засеменял шпорами по гравию дорожки и исчез, нырнул в колючую чащу. Все молча чего-то ждут и осматриваются. Вдруг Эльга радостно вскрикнула:

— Это он!

Из стеклянной оранжереи вышел невысокий пожилой человек в форме хаки, но без погон, с длинными, по-военному закрученными усами и с подстриженной

бородкой. Наверное, один из служащих или садовник — в руке у него большие садовые ножницы для стрижки деревьев. При его приближении Гумилев и Комаров вытянулись, как будто становясь во фронт.

— Здравствуйте, господа! Вы с «Полярной Звезды»? — обратился к нам садовник, жестом показывая, что руки у него заняты и что он не может с нами поздороваться.

— Ваше императорское Величество, мы явились к вам по поручению Петроградской боевой организации и должны передать вам письмо и посылку от Григория Ефимовича, — торжественно, по-актерски ответила за всех Эльга.

— Письмо и посылку от нашего друга! Он не забывает о нас даже при таких ужасных обстоятельствах. Аликс будет очень рада.

И он, быстро сунув за пояс ножницы, взял из рук Эльги водочную бутылку с крещенской водой и записку с каракулями Распутина.

Неужели этот невзрачный серый человек в самом деле Николай II-ой, бывший император и самодержец всероссийский? Николай кровавый, последний — еще в отрочестве узнал я эту его пророческую кличку, читая тайком с благоговейным трепетом первую нелегальную брошюру «Отчего студенты бунтуют», данную мне первым моим революционным наставником, чернявым киевским студентом Карлушкой Думлером, приятелем долговязого белобрысого Степки Балмашева — с ним вместе ездил он зимой на Волгу пробовать браунинг, из которого потом был убит министр внутренних дел Сипягин. Только один раз видел я Николая вблизи в Петрограде летом, незадолго до революции, на похоронах Константина Константиновича. В парчевых траурных ризах тянулось синодальное духовенство, шпальмейстеры в шитых золотом мундирах вели под уздцы тысячных кровных лошадей в роскошных пополах... А посредине медленно двигавшейся по Гороховой

к Петропавловской крепости торжественной процессии, ступая неловко сапогами по мостовой, шел одетый в походную военную форму Николай II-й. Только редкая шпалера штыков отделяет его от сгрудившейся многотысячной толпы. И солдаты уже не прежние парадные вышколенные гвардейцы, а бородачи запасные, всего несколько недель назад согнанные сюда от своих изб и пашен. И казалось, что этой огромной толпе ничего не стоит вдруг сомкнуться, смять тонкое оцепление и раздавить своей ходынкой и эту венценосную куклу и ее золотое из эполет и риз окружение...

Желтое, одутловатое, с мешками и гусиными лапками под глазами, лицо Николая похоже не на его румяные подкрашенные портреты, а на карикатуры — такое же армейски-серое, невыразительное. Только иногда при улыбке лицо оживляется и несколько напоминает известный портрет Серова. Голос глуховатый, но довольно приятный, слишком твердо и правильно, как по-печатному выговаривающий все звуки.

— Какого вы полка? — спросил Николай Гумилева.

— Лейб-гвардии уланского ее Величества полка, Ваше императорское Величество.

— А за что получили Георгия?

— За разведку в восточной Пруссии, Ваше императорское Величество.

— А вы? — обернулся Николай к Комарову и, увидев на нем нашивки революционного флота, улыбнулся извиняющейся улыбкой. — Впрочем, виноват, у вас нет погон...

— Я участник антисоветского кронштадского мятежа, Ваше императорское Величество, — отрапортовал Комаров.

Прогуливаясь по дорожке, Николай стал о чем-то беседовать с Эльгой и Гумилевым. До меня только изредка долетали отрывки фраз. Вдруг Николай остановился и сказал громко и резко:

— Нет, нет! Ради бога не делайте этого. Не надо

больше крови. В Екатеринбурге тоже было так — анонимное письмо с обещанием помощи и потом вместо освобождения...

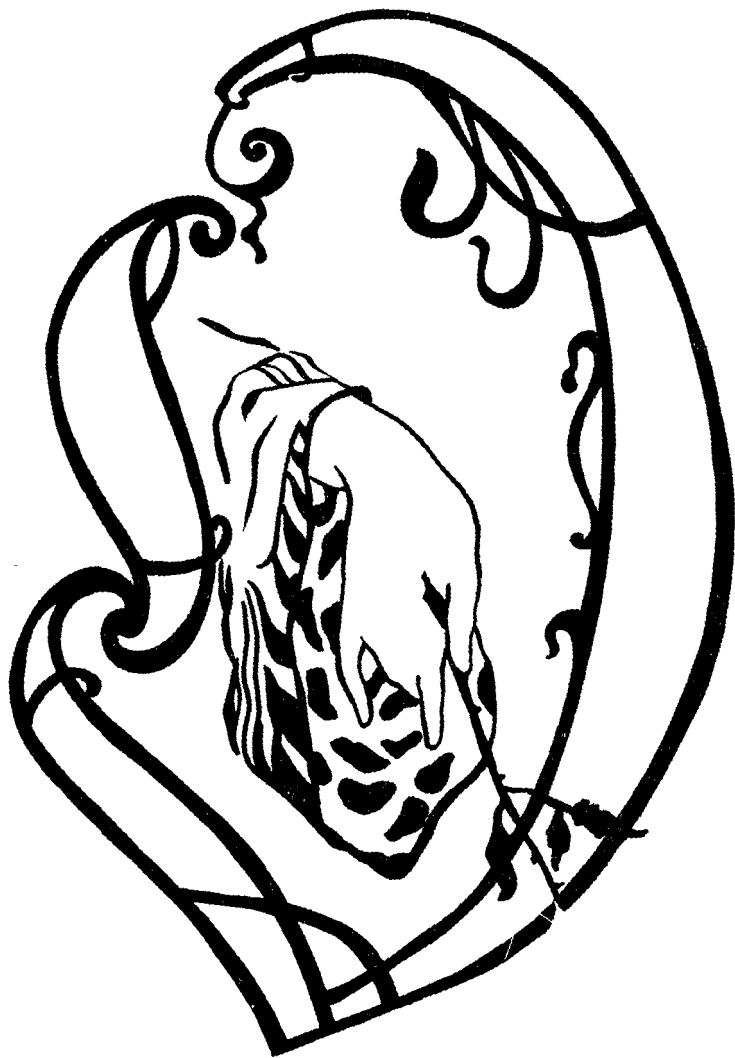
Николай не закончил фразы, он казался взволнованным и нервно подергивал плечом.

— Благодарствуйте, господа офицеры, за все ваши старания и хлопоты. Но ваша самоотверженность бесполезна. Теперь уже поздно. Мне больше помочь ничто уже не может, кроме молитв, и вот этой крещенской воды от нашего друга. Прошу вас передать мою благодарность команде. Прощайте, господа!

Кивнув головой, Николай повернулся и, подергивая плечом, быстро пошел по дорожке к оранжереям.

С «Полярной Звезды» донесся призывный гудок. Мы торопливо стали спускаться к берегу. Обратный переезд совершился так быстро, что когда мы снова очутились среди Петергофских фонтанов, единственным реальным напоминанием о происшедшем осталась сорванная мною в Ливадии большая душистая белая роза с припавшей к венчику изумрудной бронзовкой. Золотая яхта исчезла бесследно, как фазан. Да и действительно ли эта роза — ливадийская?.. Может быть, она сорвана мною не там, на известковых виноградных склонах Яйлы, а здесь, в сыром зеленом Петергофе? Может быть, она, как и все, мною виденное, только болезненное порождение блазнящей белой ночи?!





ДИКАЯ ПОРФИРА

*И в дикую порфиру древних лет  
Державная природа облачилась.*  
Баратынский

\* \* \*

Пары сгущая в алый кокон, —  
Как мудрый огненный паук,  
Ткет солнце из цветных волокон  
За шелковистым кругом круг.

И тяжким тяготеньем сбиты,  
И в жидком смерче сгущены,  
Всего живущего орбиты  
И раскалены и красны.

И ты, мой дух слепой и гордый,  
Познай, как солнечная мгла,  
Свой круг и бег алмазно-твердый  
По грани зыбкого стекла.

Плавь гулко в огненном удушье  
Металлов жидкие пары  
И славь в стихийном раводушье  
Раздолье дикое игры!





## ГИМНЫ К МАТЕРИИ

\* \* \*

Ты дико-сумрачна и косна,  
Хоть окрылил тебя Господь, —  
Но как ярка, как кровеносна  
Твоя железистая плоть!

И в таинствах земных религий  
Миражем кровавых паров  
Маячат вихревые сдвиги  
Твоих кочующих миров.

И грузно гнутся коромысла  
Твоих весов, чтоб челюсть пил  
В алмазные опилки сгрызла  
Все, что твой горн не растопил. —

В осях, в орбитах тверды скрепы,  
Пласты огня их не свихнут,  
И необузданный, свирепый  
Стихийно-мудр твой самосуд.

И я молюсь, чтоб ток багряный,  
Твой ток целебный не иссяк,  
И чтоб в калильные туманы  
Тобой сгущался мертвый мрак!

\* \* \*

Всему — весы, число и мера,  
И бег спиральями всему,  
И растекается во тьму  
За пламенную сферой сфера.

Твой лик в душе — как в меди — выбит,  
И пусть твой ток сметет ее  
И солнце в алой пене вздыбит, —  
Но царство взвешено твое!

В длину растянется орбита,  
И кругом изогнется ось,  
Чтоб пламя вольно и открыто,  
По всем эфирам разлилось.

Струить металл не будет время,  
Пространство перестанет течь  
И уж не сможет в блюде семя  
Прах мертвый тайнами облечь.

И выход рабьему бессилью  
Из марев двух магнитных смен —  
Раскинет радужную пылью  
Вселенная свой легкий тлен.



## ДВА ПОЛЮСА

### МАГНИТ

От тьмы поставлены сатрапами,  
Тиары запрокинув ввысь,  
Два полюса, как сфинксы, лапами  
В граниты льдистые впились.

Глядят, как россыпью алмазною  
Сверкают снежные хребты,  
Как стынут тушей безобразною  
Средь льдов затертые киты.

И среди сияний электрических  
Вращая тусклые зрачки,  
Ждут, чтоб до зарослей тропических  
Опять низринуть ледники.

И как удав кольцом медлительным  
Чарует жертву, так пьянит  
На компасе путеводительном  
Их плавно пляшущий магнит.

И сквозь горение бесплодное,  
Бушующее бытие  
Все чудится его холодное,  
Его тупое острие!

## ТАНЕЦ МАГНИТНОЙ ИГЛЫ

Et le pôle attire à lui sa fidèle cité<sup>1</sup>

*Тютчев*

Этот город бледный, венценосный  
В скользких и гранитных зеркалах  
Отразил Владыку силы косной —  
Полус и Его застывший прах.

И в холодном мраморе прозрачном  
Обнаженных северных ночей,  
И в закатах, с их отливом мрачным, —  
Явлен лик Его венцом лучей.

То пред Ним, как перед тягой лунной,  
Вдруг от моря, вставшего стеной,  
Влагой побуревшей и чугунной  
Бьет Нева смущенная отбой.

Повелев магниту — легким танцем  
Всколыхнуть покой первичных сил,  
Это Он в ответ протуберанцам  
Лед бесплодный кровью оросил.

И когда стояли декабристы  
У сената — дико-весела  
Заплясала, точно бес огнистый,  
Компаса безумного игла.

Содрогнувшись от магнитной бури  
Перед дальним маревом зарниц,  
Чрез столетье снова morituri  
С криком ave! повергались ниц.

<sup>1</sup> Полус притягивает к себе свой верный город (фр.).

Намагнитив страсти до каленья,  
Утолив безумье докрасна,  
Раскололись роковые звенья  
Вечно тяготеющего сна.

И опять недвижно стрелка стала,  
И, свернувшись, огненная мгла  
У Его стального пьедестала  
Лавою застывшею легла.

Но неслышно, прыгая тенями  
В серой слизи каменных зеркал,  
Веют электрическими снами  
Марева, как перья опухал.

### СВЕРШЕНИЕ

И он настанет — час свершения,  
И за луною в свой черед  
Круг ежедневного вращения  
Земля усталая замкнет.

И обнаживши серебристые  
Породы в глубях спящих руд,  
От полюсов громады льдистые  
К остывшим тропикам сползут.

И вот весной уже не зелены —  
В парче змеящихся лавин  
В ночи безмолвствуют расщелины  
Волнообразных котловин.

Лишь кое-где между уступами,  
Вскормленные лучом луны,  
Мхи, лишай, как плесень, струпами  
Вскарабкались на валуны.

А на полдневном полушарии,  
Где сохнут, трескаясь, пласты,  
Спят кактусы, араукарии,  
Раскрыв мясистые цветы.

Да над иссякнувшими руслами —  
Ненужный никому металл —  
В камнях кусками заскорузлыми  
Сверкает золото среди скал.

Да меж гранитными обвалами,  
Где прилепились слизняки,  
Шевелят щупальцами алыми  
Оранжевые пауки.

И греясь спинами атласными  
И сонно пожирая слизь,  
Они одни глазами красными  
В светило желтое впились.



## ЗЕМЛЯ

О мать Земля! Ты в сонме солнц блестела,  
Пред алтарем смыкаясь с ними в круг,  
Но струпьями, как Иову, недуг  
Тебе изрыл божественное тело.

И красные карбункулы вспухали  
И лопались, и в черное жерло  
Копили гной, как жидкое стекло,  
И щелями зияя, присыхали.

И на пластах застывших изверженья  
Лег, сгустками запекшись, кремнезем,  
Где твари — мы плодимся и ползем,  
Как в падали бациллы разложенья.

И в глубях шахт, где тихо спит руда,  
Мы грузим кровь железную на тачки  
И берем потухшие болячки  
И близим час последнего суда...

И он пробьет! Болезнь омывши лавой,  
Нетленная, восстанешь ты в огне,  
И в хоре солнц в эфирной тишине,  
Вновь загремит твой голос величавый!



## ВОДЫ

Вы горечью соли и йодом  
Насыщали просторы земли,  
Чтоб ящеры страшным приплодом  
От мелких существ возросли.

На тучных телах облачились  
В панцырь громоздкий хрящи,  
И грузно тела волочились,  
Вырывая с корнем хвощи.

Когда же вулканы взрывом  
Прорывали толщу коры,  
То вы гасили приливом  
Пламя в провалах норы.

И долго прибитые к суше,  
В пене остывших паров,  
Распухшие, черные туши  
Заражали дыханье ветров.

Теперь же, смирив своеволие,  
Схлынул ваш грузный разбег,  
И в почве, насыщенной солью,  
Засевает поля человек.

И Ксеркс, вас связать не властный —  
Он кабель, как цепи, метнул  
В пучину, где в глине красной  
Свалены зубы акул.

И скоро за пищей богатой  
Поплывут, вращая винтом,  
Стальные голодные скаты  
С электрическим длинным хвостом.



Не скрыть вам дремучие рощи  
И добычей усыпанный ил,  
И вымерших ящеров мощи  
В глубях их царских могил.

И вот — под гул ураганов  
Тянет вас лунная муть  
Приливом Пяти Океанов  
Ось земную свихнуть!



## КАМНИ

Меж хребтов крутых плоскогорий  
Солнцем пригретая щель  
На вашем невзрачном просторе  
Нам была золотая купель.

Когда мы — твари лесные —  
Пресмыкались во прахе ползком, —  
Ваши сосцы ледяные  
Нас вскормили своим молоком.

И сумрачный дух звериный,  
Просветленный крепким кремнем,  
Научился упругую глину  
Обжигать упорным огнем.

Стада и нас вы сплотили  
В одну кочевую орду  
И оползем в жесткой жиле  
Обнажили цветную руду.

Вспоен студеным потоком,  
По расщелинам сползшим вниз,  
Без плуга в болоте широком  
Золотился зеленый рис.

И вытянув голые ноги,  
С жиром от жертв на губах,  
Торчали гранитные боги,  
Иссеченные медью в горах.

Но, бежав с родных плоскогорий,  
По пустыням прогнав стада,  
В сырых низинах у взморий  
Мы воздвигли из вас города.

И рушены древние связи,  
И когда вам лежать надоест,  
Искошив цементные мази,  
Вы сползете с исчисленных мест.

И сыпясь щебнем тяжелым,  
Черные щели жерла  
Засверкают алмазным разломом  
Золота, стали, стекла.



## МЕТАЛЛЫ

Дремали вы среди молчанья,  
Как тайну вечную, сокрыв  
Все, что пред первым днем созданья  
Узрел ваш огненный разлив.

Но вас от мрака и дремоты  
Из древних залежей земли  
Мы, святотатцы-рудометы,  
Для торжищ диких извлекли.

И огнедышащие спруты —  
Вертите щупальцы машин  
И мерите в часах минуты,  
А в телескопах бег пучин.

И святотатственным чеканом  
На отраженьях Божьей мглы  
Сверкают в золоте багряном  
Империй призрачных орлы.

Но тяжкий грохот ваших песен  
Поет без устали о том,  
Что вы владыки земли, как плесень,  
Слизнете красным языком;

Что снова строгий и печальный  
Над хаосом огня и вод  
Дух — созидатель изначальный —  
Направит легкий свой полет!

## ТЕМНОЕ РОДСТВО

О темное, утробное родство,  
Зачем ползешь чудовищным последом  
За светлым духом, чтоб разумным бредом  
Вновь ожило все, что в пластах мертво?

Земной коры первичные потуги,  
Зачавшие божественный наш род,  
И пузыри и жаберные дуги —  
Все в сгустке крови отразил урод.

И вновь, прорезав плотные туманы,  
На теплые архейские моря,  
Где отбивают тяжкий пульс вулканы,  
Льет бледный свет пустынная заря.

И размножая легких инфузорий,  
Выращивая изумрудный сад,  
Все радостней и золотистей зори  
Из облачного пурпура сквозят.

И солнце парит топь в полдневном жаре,  
И в зарослях хвощей из затхлой мглы  
Возносятся гигантских сигиллярий  
Упругие и рыхлые стволы.

Косматые — с загнутыми клыками —  
Пасутся мамонты у мощных рек,  
И в сумраке пещер под ледниками  
Кремень тяжелый точит человек...

О предки дикие! Как жутко-крепок  
Союз наш кровный. Воли нет моей,  
И я с душой мятущейся — лишь слепок  
Давно прошедших, сумрачных теней.

И им подвластный, солнечный рассудок,  
Сгустив в мозгу кровавые пары, —  
Как каннибалов пляшущих желудок,  
Ликуя, правит темные пиры.





## МАХАЙРОДУСЫ

Корнями двух клыков и челюстей громадных  
Оттиснув жидкий мозг в глубь плоской головы,  
О махайродусы, владели сушей вы  
В третичные века гигантских травоядных.

И толстокожие — средь пастбищ непролазных,  
Удабривя соль для молочайных трав,  
Стада и табуны ублюдков безобразных,  
Как ваш убойный скот, тучнели для облав.

Близ лога вашего, где в сумрачной пещере  
Желудок страшный ваш свой красный груз варил,  
С тяжелым шлепаньем свирепый динотерий  
От зуда и жары не лез валяться в ил.

И видя, что каймой лилово-серых ливней  
Затянут огненный вечерний горизонт,  
Подняв двупарные раскидистые бивни,  
Так жалобно ревел отставший мастодонт.

Гудел и гнулся грунт под тушею бегущей,  
И в свалке дележа, как зубья пил, клыки,  
Хрустя и хлюпая в кроваво-жирной гуще,  
Сгрызали с ребрами хрящи и позвонки.

И ветром и дождем разрытые долины  
Давно иссякших рек, как мавзолеей, хранят  
Под прессами пластов в осадках красной глины  
Костей обглоданных и выщербленных склад.

Земля-владычица! И я твой отпрыск тощий,  
И мне назначила ты царственный удел,  
Чтоб в глубине твоей сокрытой древней мощи  
Огонь немеркнувший металлами гудел.



Не порывай со мной, как мать, кровавых уз,  
Дай в танце бешеном твоей орбитной цепи  
И крови красный гул и мозга жирный груз  
Сложить к подножию твоих великолепий.



## ЧЕЛОВЕК

К светилам в безрассудной вере  
Все мнишь ты богом возойти,  
Забыв, что темным нюхом звери  
Провидят светлые пути.

И мудр слизняк, в спираль согнутый,  
Остры без век глаза гадюк.  
И в круг серебряный замкнутый,  
Как много тайн плетет паук!

И разлагают свет растения,  
И чует сумрак червь в норе...  
А ты — лишь силой тяготенья  
Привязан к стынущей коре.

Но бойся дня слепого гнева:  
Природа первенца сметет,  
Как недоношенный из чрева  
Кровавый безобразный плод.

И повелитель Вавилона,  
По воле Бога одичав,  
На кряжах выжженного склона  
Питался соком горьких трав.

Стихии куй в калильном жаре,  
Но духом, гордый царь, смирись  
И у последней слизкой твари  
Прозренью темному учись!

## В ЗООЛОГИЧЕСКОМ МУЗЕЕ

Г. П. Федотову.

Ловя сирен далекие отгулы,  
От голода в изнеможеньи злом  
Лежат недвижно серые акулы,  
Как бабочки, проткнуты под стеклом.

И разомкнули тучные удавы  
Колец волшебных блещущий извив,  
Как бы во сне — желудочной отравой  
Проглоченную жертву не сварив.

И повествуют о веках размытых,  
Как железняк о пламенных мирах,  
Кровь мамонтов из дебрей ледовитых,  
Их мускулов, волос тяжелый прах...

Но что для глаз слепых и равнодушных  
Божественных гармоний пестрота,  
Земных, наземных, водных и воздушных —  
Всех фаун мощных слепки и цвета!

И только дети шумно на свободе  
Меж чучел и витрин гурьбой снуют, —  
Не так, как мы, причастные природе,  
Пред ней восторг неложный унесут.

Они — с животной жизнью материнства  
Глухую связь порвавшие едва —  
Одни поймут нам скрытое единство  
Живой души, тупого вещества!

## РАДОСТНЫЙ МИР

О какой это радостный, сказочный мир,  
Управляемый солнцами двух полушарий  
И стремящийся вечно в пустынном пожаре, —  
Это алое мясо и розовый жир!

Здесь на дымных углях непрерывных сгораний,  
На калильном огне ослепительных руд  
Обновляют, сочась, свой цветной изумруд  
Саламандры прожорливых, слизистых тканей.

И в тягучие устья пурпурных артерий,  
Отлагающих в дельты свой илистый груз,  
Словно стаи хрустальных и хрупких медуз,  
Собираются полчища жадных бактерий.

И из серого мозга, вокруг полюсов двух  
Очертивши магнитами красное поле,  
Золотое единство божественной воли  
Разлагает на радуги радостный дух!



## МЯСНЫЕ РЯДЫ

А. Ахматовой.

Скрипят железные крюки и блоки,  
И туши вверх и вниз сползать должны.  
Под бледною левой кровоподтеки  
И внутренности иссиня-черны.

Все просто так. Мы — люди, в нашей власти  
У этой скользкой смоченной доски  
Уродливо-обрубленные части  
Ножами рвать на красные куски.

И чудится, что в золотом эфире  
И нас, как мясо, вешают Весы,  
И так же чашки ржавы, тяжки гири,  
И так же алчно крохи лижут псы.

И как и здесь, решающим привеском  
Такие ж жилистые мясники  
Бросают на железо с легким треском  
От сала светлые золотники...

Прости, Господь! Ужель с полдненным жаром,  
Когда от туш исходит тяжело дух,  
И там, как здесь, над смолкнувшим базаром,  
Лишь засверкают стаи липких мух?



**МАРК АВРЕЛИЙ**

Глупцы! Пьянящий вас напиток —  
Лишь мутный виноградный сок,  
И выделением улиток  
Пылает пурпур царских тог.

Как камень кверху мечет сила,  
Покорны бегу одному  
Огнетуманные светила  
И мы, идущие во тьму.

И понял твой суровый гений  
Среди движения племен,  
Что в золоте круговращений  
Недвижен сумрачный закон.

Под северным дождем туманным,  
На топи настелив валы,  
Победно нес ты к маркоманнам  
От крови ржавые орлы.

Но как тебе был час тот сладок,  
Когда, затепливши ночник,  
Ты вынимал из жестких складок  
Свой покоробленный дневник.

А рядом рыжие германцы,  
Щитами толстыми звеня,  
Кружили неуклюже танцы  
В лесу дубовом у огня.

И раз перед рассветом серым,  
Светильник медный погасив,  
К построенным легионерам  
Ты вышел с сыном — молчалив.

Вот кесарь ваш! Над затхлою бойней,  
Где с туш струится красный след,  
Над сбродом варваров — достойней,  
Чем мудрецы, царит атлет!

И в лихорадочной дремоте  
Ты лег, почувствовав озноб,  
И лоснился в предсмертном поте  
На волчьей шкуре бледный лоб.

И как цветное опахало,  
Над ликом спящего царя  
Огнистый пурпур колыхала  
Всегда холодная заря.



## КОММОД

Ты к славе предков равнодушен,  
Величьем варвара велик, —  
Любил, как конюх, пар конюшен  
И запах бойни, как мясник.

В сенате, с мрачным безразличьем  
Внимая вкрадчивым словам,  
Скользил тяжелым взглядом бычьим  
По преклоненным головам.

И в полутьме глухого зала  
Среди египетских жрецов  
Анубис с головой шакала —  
Ты вешал сердце мертвецов.

Но кесарь сонный и суровый —  
Как ты преображался вдруг,  
Перед толпой многоголовой  
Ступив рабом на красный круг!

Как весело, весь лоснясь потом,  
До крови взмыливши узду,  
Прорыть последним поворотом  
В песке огнистом борозду.

И в жар полуденного часа,  
Железом обвязавши грудь,  
Как сладко свежий запах мяса  
Ноздрями вздутыми вдохнуть!

И после меткого удара  
Пред гладиаторским кружком  
Средь чадной вони лупанара  
Кичиться силой и венком...



Что если кровожадным нюхом  
В истоки солнц — глухой тайник —  
Ты, темный зверь, ясней проник,  
Чем твой отец крылатым духом?

И мясом кесари не сыты:  
Рабы стихий — мы пасть должны,  
И бегом солнц потрясены  
Ристалищ огненных орбиты...



## К АГУРЕ-МАЗДЕ

Пылай и вечно не иссякни,  
Струи эфирный легкий ток,  
Агура-Мазда, древний Агни,  
Предвечный и пречистый бог!

Иль таинствами всех религий,  
Как дикари с кремнем твоим,  
Не одного тебя, Великий,  
Огнепоклонствуя, мы чтим?

Все времена и все пространства,  
И сумрачный полет земли —  
Как огнецветные убранства  
Ты преломил сквозь хрустали.

И соки сомы молочайной,  
И солнечные мятежи  
Двуострой искрометной тайной  
Замкнул ты в грани и меж.

Пусть пред тобою только прах мы:  
Ты облегчишь распад частиц,  
Послав в круги тройные дахмы  
Тяжеловесных, вещей птиц.

Мой тлен твоим стихиям сладок!  
Я им тебя не загрязню, —  
Лишь вспыхну разложением радуг,  
Приблизясь к твоему огню.

## ВАВИЛОН

Средь торжищ золота и мяса  
В величии тупом косней,  
Смолою сцепленная масса  
Песка и глины и камней!

Как мавзолей грехопаденья,  
На месте рая вырос ты,  
Болезненное порожденье  
По нем тоскующей мечты.

И в блеске мазей, в позолоте  
Величественна поступь жен, —  
Но уж давно бесплодьем плоти  
Огонь их чрева поражен.

И башни, каменным пареньем  
На ярус ярус громоздя,  
Сверкают грузным воплощеньем  
Прозрачных пламеней дождя.

И Белу, мрачному от зноя,  
До пресыщения должны  
Окрасить золото резное  
В веселый пурпур сосуны.

И в русла загнаны стихии,  
Покуда ночью на стене  
Не вспыхнет все, что Еремии  
Сокрять повелено на дне.

Пропахнувшие дымным салом,  
Не вычислят твои жрецы,  
Кому затменье краем алым  
Разметет легкие венцы...

Но путь один с твоим владыкой:  
Беги от идолов и смол  
Впивать торжественный и дикий  
И древний, как земля, глагол;

Чтоб вымерших несчетных тварей  
Чудовищная кровь и слизь,  
Свой хаос обуздав в пожаре,  
В тебе ядром огня слились!



## НАВУХОДНОСОР

Разметав убор павлиний,  
От моих густых колонн  
Вдоль расстроившихся линий  
Дико мчался фараон.

И по жирным эфиопам,  
Обогряя солнца спиц,  
Я прогнал глухим галопом  
Сотни тяжких колесниц.

Изломав сосуды Храма,  
Увезли мои рабы  
Море дивное Хирама,  
Херувимов и столбы.

И над блудом Вавилона  
Переплавленная медь  
Будет, точно рай зеленый,  
В пламени небес висеть.

Но, смилив мою гордыню,  
С ложа пиршественных зал  
К жвачным буйволам в пустыню  
Бог пастись меня воззвал.

Лежа в тине топких поем,  
Как сонливый бегемот,  
Нюхал я пред водопоем  
След к реке среди болот.

В тростниках по вязким скатам  
Лез я, жажду утоля,  
Между Тигром и Ефратом  
С вепрями топтать поля.

Жаждой бешеной влекомый  
От воды на темя скал,  
Соки молочайной сомы,  
Исцеляясь, я лизал.

Но мгновенно царство тени:  
Тьмой постигнутой велик,  
Вновь из сумрака затмений  
Золотой выходит лик.

Чту теперь и чую силу  
Древнего Иеговы —  
Ту, что ночью Даниилу  
Не открыли ревом львы.

Он — творец ее единый —  
Точно золотом светил,  
Темной мудростью звериной  
Гордый дух мой просветил.



## ПОХОД АЛЕКСАНДРА В ИНДИЮ

Н. С. Гумилеву.

## I.

Не внявши прорицаньям магов,  
Через камни и солончаки  
Безумец Александр от дагов  
Повел на Индию полки.

Достигнут Инд. И все рассказы  
И сказки превзошла она —  
Тягучих ядов и заразы,  
Огня и золота страна.

И Пор бежал с нестройным скопом,  
Но были греки смущены,  
Когда вдруг ринулись галопом,  
В шеренгу выстроясь, слоны.

Все было странно — средь болота  
Рабами запряженный плуг;  
И пестрых тигров позолота,  
Краснеющая сквозь бамбук.

И девушки — их поступь строже  
Медлительной походки жриц,  
Но как у змей отливы кожи,  
И, точно когти, сгиб ресниц.

Зачем, как в шумные Афины,  
Ораторы и мудрецы,  
Бегут в леса учить брамины —  
Полубезумные жрецы?.

И через тинистые реки  
И желтый, как парча, туман  
С веселым шумом плыли греки  
Вниз по теченью в океан.

Но часто — призрак прорицаний —  
Им виден был на берегу  
Брамин, нирвану созерцаний  
Привявший в пламенном кругу.

Сгущался воздух испареньем,  
Гудели древние леса,  
И греки туже со смущеньем  
Натягивали паруса.

## II.

Поход закончен. И от устья  
С добычей флот повел Неарх,  
Но страшен в ярости и грусти  
На буйных оргиях монарх.

Отравленный страную чумной,  
Ее дыханием сожжен,  
Он ночью криком, как безумный,  
Все гонит прочь какой-то сон.

И на пирах стрелой звенящей —  
Нежданных молний острие —  
В руке царя сверкает чаще  
Окровавленное копье.

Он с колесницы грозным взглядом  
Еще влечет через пески  
Отравленные скрытым ядом  
Свои тяжелые полки.



Но не Ворота Геркулеса —  
Пределы покоренных стран,  
Ворота темного Айдеса  
Ему откроют Океан.

Уже измученный страстями  
Бесславно пал Гефестион,  
И просмоленными стенами  
Вдали чернеет Вавилон.



## НИТИ ПАРОК

Скрыв под рудой самоцветной, под йодистой влагой  
хрустальной,  
От утомленных стихий ярость их древней борьбы,  
Ткут неподвижные Парки, владычицы тьмы  
безначальной,  
Людам, титанам, богам — ткань непреложной судьбы.

Но на ладонях их черствых — зачатые силою  
косной —  
Золотом зыбким горят нежные нити... К чему  
Иль лишь затем, чтоб в Аиде, крупинкою  
золотоносной  
В темных волнах проблистав, снова сокрыться  
во тьму?



## ТЕНИ

Сонет

Как кружатся стервятники-орлы  
Над падалью, собаками разрытой,  
Так к яме, кровью свежеею политой,  
Метнулись тени стаей со скалы.

И Одиссей у жертвенной золы,  
Подняв копье сурово для защиты,  
Их зыбкий образ — лик давно забытый —  
Старался угадать средь красной мглы.

Поэт, когда средь кликов и веселий  
Прослышишь хруст и шелест асфоделей,  
Аиду возлиянье приготовь.

Пусть, налетев, бесплотные виденья  
Угрюмо пьют твою густую кровь,  
Вещая тайны сумрака и тленья!



## ДВОЙНИК

Мне помнится — перегрузив края  
Могильной утварью, давно проплыла  
По половодью илистого Нила  
Украшенная лотосом ладья.

Но этот воздух спертый и тяжелый  
В печи гранитной — о, как долго он  
Не высушит натронные рассолы,  
Папирус кожи, пурпуры пелен.

И в ту страну, откуда нет возврата,  
К недвижным водам Ха, на Озирисов Лик,  
На красное судилище заката, —  
Зачем так медленно бредешь ты, мой двойник?



## ВАЛГАЛЛА

Сонет

С утра звучит призывный вопль валкирий,  
Как хриплый крик стервятника-орла,  
И сохнет кровь, как черная смола,  
И стынет мозг, как студень, в красном жире.

И в полдень, в знак наставших перемирий,  
Трубят рога, и теплые тела  
Сползаются у длинного стола,  
До бойни вновь оживлены на пире.

И жарится на вертеле кабан,  
И в пурпуре полярный океан  
От марева железного чертога.

И недвижим на возвышеньи льдин  
Меж двух волчиц из золотого рога  
Кровавое вино сосет Один.



## НА ВОЛГЕ

Синели дикие просторы,  
Цвела невзрытая земля,  
И, гребни мелом убеля,  
Краснели глинистые горы.

И чуя громовые гулы  
Из огненных расщелин тьмы, —  
Как пресноводные акулы,  
Метались сонные сомы.

И войлоком на соли голой  
Пестрели ярко города,  
Где с диким гиканьем монголы  
Пасли косматые стада.

И содрогалась степь Ирана  
И дряхлого Кремля кирпич,  
Когда из воровского стана  
До черни доносился клич.

И к побережьям ледовитым,  
Где мамонты погребены,  
К кольцу незыблемой стены,  
Хранимой голубым нефритом,  
Влеклись разбойничьи челны.

Но хищник царственный вначале —  
Он стал поденщиком труда,  
И с человеком измельчали  
И лес, и степи, и вода.

Налетом радужным и сальным  
Искрясь, на волны нефть легла,  
И блещут золотом сусальным  
Средь вихрей пыли купола.

И бурно-сохнувшее море  
По отмелям зацветших вод  
От зараженных плоскогорий  
Миазмы моровые шлет.

Лишь там, где грузовым верблюдом  
По трапам крючники бегут,  
Полузабытым, давним чудом  
Просторы прошлые живут:

Еще здесь мощны в дикой силе,  
Как впившийся в поклажу крюк,  
Узлы тугие сухожилий,  
Кривые пальцы жестких рук.

Антихрист или самозванец  
Всегда подняться здесь готов,  
Чтоб золотом огнистый танец  
Расплавил медь колоколов!



## ДВЕ КРОВИ

Любили мы свои низины,  
Где мед тяжел и золотист,  
Где над затоном легок свист  
Он взлета стаи лебединой.

И рыб пугая красноперых,  
Мы, в срезанный тростник дыша,  
С оружием затаясь в озерах,  
Могли лежать средь камыша.

И греки по гремучим трубам  
Не раз на варварскую бронь,  
На черепа с косматым чубом  
Метали трепетный огонь...

Но между марганцем Урала  
И Каспием пустырь ворот,  
Лишь полая вода спадала,  
Песком мостил монголам брод.

И полз со скрипом одноколок  
По рыхлому помету стад  
Степных пожаров алый полог  
За пышным солнцем на закат.

И прели мертвые, густые  
Озера Золотой Орды,  
Где у становища Батыя  
Вершились ханские суды.

И мы по телу рассосали,  
Как застоявшийся нарыв,  
Кровь орд, что весело плясали,  
По трупам доски расстелив.



Смирись же, дух, и будь бессилен,  
Велению не прекословь:  
То меж причудливых извилин  
С тяжелой кровью спорит кровь...

И стынет солончак от стужи,  
И пышет зноем от жары,  
И мы, как встарь, везем дары  
На дальний дым, на рев верблюжий,  
На пестроверхие шатры.



## КНЯЗЬЯ

Любо было вам, идя с похода,  
Хлеб и соль встречать с поклоном в селах,  
И чеканный ковш лесного меда  
Пить с дружиной на пирах веселых;

И с утра с колчаном стрел каленых  
В топкой чаще на болоте буром,  
Стоя в стременах раззолоченых,  
С гиком гнаться за мясистым туром.

И под праздник в светлые хоромы  
Петь псалмы сползались к вам калеки,  
Обнажая раны, переломы,  
Красные, гноящиеся веки.

Но зато, когда из-за удела  
Спор решали вы крутой расправой,  
Долго по ночам земля гудела,  
Досыта напившись крови ржавой.

Кто стрелой татарской убиенный,  
Кто снедаем язвой моровою,  
В черной схиме, в простоте смиренной  
Все сошли вы к вечному покою.

Веря, что развеют тлен кромешный  
Золотые ангельские трубы,  
Вы легко вручали прах свой грешный  
Смрадной смерти в смоляные срубы.

И старинного чекана раки,  
Плесневая в отсыревшем склепе,  
Ваши имена гласят во мраке  
Золотом церковных благолепий.

А в полях в страду, как прежде, шумно,  
И скрипят возы с поникшей рожью,  
И под солнцем златоверхи гумна,  
И вихриста пыль по придорожью.

Пусть, как кровь, звенящую по венам,  
Взрывы солнца стрелкою мы метим, —  
Вечный мрак с его зловонным тленом  
Золотом каких стихий осветим?



## СЛЕПЦЫ

Ой, подайте милостыню, родные!  
Церковь вся в иконах с позолотою,  
А под нами паперти холодные  
Мучат ноги сыростью-ломотою.

Легок грязный грош, а из-за медного  
Вам с весов грехов не мало скинется.  
Как умрем, с престола самоцветного  
Сам Христос навстречу к нам подымеется:  
— Гой, вы, скажет, нищие несчастные,  
Не видали вы очами слепыми  
Мои солнца-звезды златокрасные,  
Двери рая с радугами-скрепами.

Праздник мой встречали вы на паперти,  
Лобызаньем братским не обласканы,  
И за то серебряные скатерти  
Вам накрыты с золотыми пасхами.

Бросьте посохи тяжеловесные,  
Сумки, сухари ржаные, ржавые, —  
Пусть омоют вам ключи небесные  
Очи-язвы гнойные, кровавые!

И потом пропойте мне сказания,  
Что сложили вы для умиления,  
Про земные страсти и страдания,  
Про мой суд и светопреставление!.

Все мы, Боже, девы безрассудные,  
Где лампы наши, маслом полные?  
Уж подняты кверху трубы судные,  
И архангелы одеты в молнии.

Уж земля в горниле трубном плавится,  
Мрет скотина и хлеба не родятся,  
Только небо зорями кровавится,  
Да росую плачет Богородица...





Заливаются своры борзые и гончие,  
Трубят в охотничьи рога звонкие  
Удалые доезжачие да ловчие.  
Мчатся мимо Ветры-королевичи  
И не слышны им плачи девичьи.



\* \* \*

Как янтарь, золотистые зерна пшеницы,  
Низкорослы овсы, ржаво-красен ячмень,  
И спускается тихо лиловая тень  
Остудить запыленные оси и спицы.

О, закат! Этот пурпур пред ночью разлитый  
И огнисто-бесшумную бурю твою,  
Точно рыбы у проруби, ломом пробитой,  
Я, как красными жабрами, легкими пью!





## В ПШЕНИЦЕ

Мечта иссякшая, кались в огне, как жницы,  
И серп зазубренный тупи и вновь точи  
Там в море разливном без края и границы,  
Где ситцы синие средь золота пшеницы  
Цветут, как васильки, как маки — кумачи!

Там слушай вечером, сокрывшись меж стеблями,  
И меркнувшей зарей вдруг снова вспыхнет пламя,  
Овеяв пыльный путь благоуханьем роз,  
И белым призраком над тихими полями  
С толпой апостолов пройдет вдали Христос.

С чуть слышным шелестом по сторонам дороги  
Колосья пышные нагнутся до земли,  
Но синие глаза задумчивы и строги,  
И он идет омыть запекшиеся ноги  
В елее золотом — в размолотой пыли.



## НА ОБРЫВЕ

Вдруг золотом нездешних ослеплений  
Пред царством тьмы на несколько минут  
Умастились стволы сырых растений,  
Обрыв и купола, и жадно пьют  
Лиловые сползающие тени  
Прозрачный пурпур — блеск небесных руд.

Не так томит коса железных пыток  
У солнечных, в крови скользящих спиц,  
И чудится, что жизни преизбыток —  
Избыток смерти, и у двух цариц  
Один и тот же пламенный напиток  
И золото победных колесниц.



## СУМРАК АМЕТИСТОВ

Холодный сумрак аметистов...

*И. Анненский*

Я радостно смотрю, как ты идешь на убыль,  
В дыму запекшийся мозг золотого дня,  
О солнце! Жажду я, как и безумный Врубель,  
Сапфирно-льдистого безбольного огня.

Свои лучистые и длинные присосы,  
Напившись, как паук, от сердца оторви!  
В застенке огненном, как липкие колеса,  
Останови миры, скользящие в крови!

Пусть гулы алые и алые движенья  
Всех красных мускулов и тканей всех  
замрут,  
И в бледной синеве, как аметисты тленья,  
Пылают россыпи радионосных руд.



## ЛЕТНИЕ КОШМАРЫ

### В ГОРОДЕ

С асфальтом черным дымные котлы  
И пыль кирпичная с лесов построек,  
И мучат мозг пласты слепящей мглы  
Кошмарами больничных белых коек.

От зноя лихорадочных потуг  
И душного, лазурного угара  
Тревожен шелест крови, зычен стук  
Глухого, молненосного удара.

О, если бы на миг один замкнуть  
Ток раскаленный солнечной аорты,  
Палящий черную земную грудь,  
И жабры легких ливням распахнуть  
Сквозь этот воздух мертвенный и спертый!

### В СТЕПИ

Словно синий жар в печи  
Под железною заслонкой —  
Душны мгlistые лучи,  
И сквозь воздух жаркий, звонкий  
Блещут красной перепонкой  
Крылья тучной саранчи.

И как мокнувший лишай  
Пыльной выжженной пустыни,  
Посреди сухой полыни  
Сочно вздулся молочай.

Ночью ж взмахами крыла  
Глухо плещутся зарницы,  
Слушая, как точит мгла  
Золотой налив пшеницы.



\* \* \*

Ресницы — как с пыльцою черной  
Тычинки маков кровавых,  
И как в божнице у святых,  
Печально-строг твой взор упорный.

Но воинств преисподних сила  
Венец тяжелый, огневой  
Из тусклой лавы возложила  
Над этой гордой головой.

И если бы в средневековье,  
Как у колдуний, прядь волос  
Твоих, обрызгав свежей кровью,  
Зарыли вечером в навоз, —

То, отогретые полуднем,  
Бесстыдные, влачась в пыли,  
Раздувшимся кровавым студнем,  
Как змеи б косы поползли;

И чернь среди потехи грубой,  
Их толстой обувью топча,  
Звала б со смехом палача  
С плетью к вертящемуся срубю.



\* \* \*

И нас — два колоса несжатых —  
Смогла на миг соединить  
В степи на выжженных раскатах  
Осенней паутины нить.

И мы — два пышных пустоцвета —  
Следили вместе, как вдали  
Средь бледно-золотого света  
Чернели клином журавли...

Но к ночи кочевая связь,  
Блеснув над коноплей, бурьяном,  
С межи заглохшей поднялась  
В огне ненастливо-багряном.

И страшен нам раскат пустынный,  
И не забыть нам никогда,  
Как робко нитью паутиной  
Ласкала стебель наш слюда!



\* \* \*

Подняв неслышно два прилива:  
Желчь океанов, крови дев,  
Луна пустынная лениво  
Встает, средь серой мглы зардев.

И вестник неизбежных зол —  
Сверкая золотом пурпурным,  
Марс в бледное кольцо вошел,  
Чтоб слиться с мертвенным Сатурном.

Но неподвластная их гнету —  
Как ночью грозовая мгла,  
В предчувствиях ты замерла,  
Готовясь к огненному взлету.





\* \* \*

Средь займищ травянисто-влажных,  
Где радостны прыжки зарниц —  
Еще не слышно труб протяжных  
Фалангою летящих птиц;

И в заводах лазурной пыли,  
Где солнце ищет берега,  
Так упоительно застыли  
Лилово-красные снега;

Резвясь по хмурому жнивью,  
Ты внемлешь звякающим бусам,  
А душу дикую твою  
Уж тянет к огненным улусам!



\* \* \*

Пусть ищут мудрецы начало жизни хилой  
В первичной извести и студне слизняков, —  
Вы солнечнее их своей магнитной силой,  
Сокрытой в золотом затмении зрачков.

Как бороздят края их темных дисков взрывы!  
Но обращен в себя притушенный их блеск  
И слушает в крови приливы и отливы  
И металлических паров тяжелый всплеск!

И я все чуда жду — что вспыхнет вдруг короний  
Жемчужной зеленью из их минутной тьмы,  
И хаос бешеный непонятых гармоний,  
Как стройность дивную, на миг постигнем мы.



\* \* \*

Отупевши от медленной боли,  
Заглушаешь ты косной корой  
Красный пульс золотых своеволий  
С их извилистой, скользкой игрой.

И в безумии дикой тоски,  
Точно солнечных ос миллионы,  
Всех возможностей жутких ионы  
Облипают слепые зрачки.



\* \* \*

Как сгусток магических зелий,  
Из тусклых хрусталиков глаз  
Кометой свой пламенный газ  
Все мечет стремительный гелий,

И в радугах солнечных тлений  
Летучей материей ран  
Свечусь я — стеклянный экран  
Бесшумных твоих излучений.



## СВЕТ ЛУНЫ

На камыш, на зыбкие растенья,  
На сухие мхи и валуны  
Синий свет таинственного тленья  
Льют, как лаву, кратеры луны.

А на утро, синий свет познаний  
У расщелин древних затая,  
Вновь над кровью жертвенных закляний  
Гимны Солнцу запоет Земля.

Лишь безумцам, тусклым изумрудом  
Отстоявшись и оледенев,  
Лунный луч сверкнет неожиданным чудом  
В сумрачных зрачках влюбленных дев.



\* \* \*

Что дневные все радости ваши  
Приобщившимся огненной скверне  
В золотой, всем протянутой чаше  
Разметавшейся мглы предвечерней?

Если, детской лазури поверя,  
Взор свой в девичий встречный я брошу, —  
На хребте багряного зверя  
Вижу царственно-тяжкую ношу.

Как Христово причастье, в сосуде  
Всем доступны для блудного сева  
И ее не кормящие груди,  
И ее не носящее чрево.

И по шерсти и тканям узорным  
Истекает из чаши истома...  
Ночь, сокрой своим саваном черным  
Наступающий праздник Содома!



\* \* \*

На облачных снегах паря,  
Без свиста, шелеста и гула  
Уже закатная заря  
Студеным полымем пахнула.

И в пышущих на кровь мехах  
Двух легких радостно я чую  
Сквозь пыльно-золотистый прах  
Холодную струю ночную.

И слышу, как из глубины  
Под льдистой ясностью сознанья,  
Взметнув кипящие желанья,  
Плывут бесформенные сны.



## МУСКУС

Почуя маток в топкой чаше,  
Ломясь сквозь острые суки,  
Сев, мускусом кровоточащий,  
Теряли, как помет, быки, —

Чтоб на пурпурные простыни  
Упав, томились до зари  
В гаремах течкою пустыни  
Пресыщенные всем цари.

Так мы живем, внимая гулам  
Сонливых водянистых жил,  
Как те цари, былым разгулом  
Разбросанных, как мускус, сил!





\* \* \*

Дробя с могучего наскока  
Рогов ветвистые концы  
И в землю врезавшись глубоко,  
Дерутся по весне самцы.

А самка тягостно мычит, —  
Подергиваясь в дрожи крупом,  
Ждет — с кем борьба ее случит  
Над трепыхающимся трупом...

Не так же ли и ты меж нами  
Приемлешь красных севов дань,  
Как в дебрях девственная лань  
Меж воспаленными самцами?



## РАССВЕТ

О предрассветный, воспетый Бодлэром  
И Брюсовым час,  
Когда лиловеют с сумраком серым  
Орбиты глаз!

Уже проститутки с улиц скрылись;  
Притоны пусты.  
И сипло сирены вдали развылись...  
Разводят мосты.

И мнится, что тени в закоулках неловко,  
Толкаясь, торопясь,  
Спускают в саване труп с веревкой  
В жидкую грязь.

И вещая зачатого дня нелепость  
И сутолку лиц,  
Над черной водой зажигает крепость  
Огнистый шпиг.



## НА АЭРОДРОМЕ

Прерывистый и мощный гул,  
И легкой сетью алюминий,  
Напрягшись весь, свой хвост рванул,  
С владыкой взмыл к вершине синей.

О воздух, вольная стихия,  
Тягучая, земная броня!  
Не покоряйся, как другие —  
Вода и суша, и огонь.

В их безднах мним мы пустоту,  
И с улюлюканьем, как идол,  
Привязан к конскому хвосту  
Тот бог, который тайну выдал...

О, будь лазурно-золотист,  
Но падох лакомо до крови,  
Чтоб укротитель наготове,  
Дрожа, держал железный хлыст;

Чтоб грузная земная сила,  
Прощупывая облака,  
Слепыми жерлами следила  
За хищным взлетом смельчака!



СОН ЯГУАРА<sup>1</sup>

Насыщен мухами недвижный воздух пряный,  
Вкруг черных акажу цветущие лианы,  
Сползая до корней, сплели густую сеть,  
Где в цепких зарослях качаться и висеть  
Так любят попугай, паук и обезьяны.

Сюда в логовище под старый мшистый ствол,  
Краснея в зелени пятнистой позолотой,  
От стад и табунов, устав, с ночной охоты  
Голодный ягуар бредет угрюм и зол.

Своим прерывистым, дымящимся дыханьем,  
Открыв от жажды пасть с запекшейся слюной,  
Он будит ящериц, повыползших на зной;  
Их изумрудный бег в траве блестит с  
шуршаньем.

И там, где свет дневной так сумрачен и слаб,  
Улегшись на скале в непроходимых чашах, —  
Слизнув лениво кровь с когтей и шерсти лап,  
Он щурит желтые огни зрачков блестящих.

Но и во сне с глухим и рыкающим стоном  
Порой он бьет хвостом дрожащие бока  
И грезит, что в полях плантаций за загонем  
Вновь в мясе бешено-ревущего быка  
Повис он на когтях всей тяжестью прыжка!

---

<sup>1</sup> Перевод стихотворения французского поэта Леконта де Лиля.

## УТРЕННИЕ СУМЕРКИ

Из Бодлэра

Уж зорю во дворе казарм трубят горнисты,  
И в фонарях фитиль колыхает ветер мгlistый,  
И на экране дня, забрезжившем в окно,  
Мигает лампы глаз, как красное пятно.  
То — час, когда сквернят в мучительных соблазнах  
На ложах отроков рои видений грязных;  
И силится душа — под гнетом — побороть,  
Как лампа свет дневной, очнувшуюся плоть;  
И сырость в воздухе, как слезы, ветер сушит,  
И хоры жалобных теней глушит и душит.  
Поэт устал творить и женщина сама  
В любви пресытилась.. Кой-где дымят дома...  
Гетеры тупо спят, от пьяных ласк разбиты;  
Как пятна трупные, темнеют глаз орбиты.  
И жены бедняков, чахоточную грудь  
Напрягши, кашляя, спешат камин раздуть...  
И в этот час сильнее в тисках капризной злобы  
И тошноты томят беременных утробы,  
И точно прерванный кровотеченьем крик,  
Зов сиплый петуха пронзителен и дик...  
И залил все туман... В больницах средь зловоний  
Слышней неровный храп медлительных агоний  
И страшны смятые пустые тюфяки...  
Домой распутники спешат и игроки...

И, розами сквозя под изумрудной ризой,  
Все высится заря над Сеной буро-сизой,  
И просыпается Париж, поденщик дня,  
Средь грязи, копоты, и лязга, и огня.

## СУМРАЧНЫЙ БОГ.

Сумрачный бог многоцветного мира,  
Творческий дух, не познавший себя,  
Мчусь я по гуще тягучей эфира,  
Сонную волю на токи дробя.

И обнажая, как череп раскрытый,  
Огненно-липкую жижу мозгов,  
Стиснутый обручем темной орбиты, —  
Солнцами вою в зигзагах кругов.

Чутко лелея душой остеклевшей  
Тусклых туманностей мутные сны,  
Чую, как пульс, под корой закосневшей  
Пламенный вихрь золотой целины.

В жажде неплодной живого зачатья  
Тщетно, тоскуя, тогда я хочу  
В девах-планетах для мук и распятья  
Дать воплотиться цветному лучу.

Но отклоняемый силою злобной,  
В небе раскинув лучистый послед,  
Вдруг низвергаюсь из тьмы их утробной  
Красным ублюдком змеистых комет.



## СОДЕРЖАНИЕ

<i>М. З.</i> Вместо предисловия . . . . .	5
<i>Александра Зенкевич.</i> Слово свидетеля . . . . .	8
<i>С. З.</i> «Странная книга...» . . . . .	8

**ЭЛЬГА.** *Беллетристические мемуары*

I. Синее пальто вместо красной свитки . . . . .	11
II. Ночной велосипедист . . . . .	14
III. У камина с Анной Ахматовой . . . . .	17
IV. Ночной визит д-ра Кульбина . . . . .	21
V. Аптека на Ружейной . . . . .	25
VI. Пассеистические пилюли . . . . .	27
VII. На проспекте 25 октября . . . . .	29
VIII. Вечер в «Аполлоне» . . . . .	36
IX. A man without aim or hope . . . . .	45
X. Прокатный велосипед с Марсова поля . . . . .	47
XI. От «Мадонны» Рафаэля к силуэту тени на стене . . . . .	57
XII. Карета скорой помощи . . . . .	63
XIII. П. Б. О. . . . .	66
XIV. Список 61-го . . . . .	70
XV. Семь зеркал из Луна-Парка . . . . .	73
XVI. Эльга . . . . .	76
XVII. Панихида в Петропавловском соборе . . . . .	78
XVIII. Флавихр Кузьмич . . . . .	81
XIX. Женщина с подтяжками на шее . . . . .	84
XX. Четырнадцать капель нашатыря . . . . .	90
XXI. Dickson Sons Sheffield . . . . .	93
XXII. Теперь мы поквитались . . . . .	97
XXIII. Поезд Пуришкевича . . . . .	101
XXIV. Компресс из резиновой гири . . . . .	107
XXV. Фазан с царской охоты . . . . .	114

XXVI. Бутылка с крещенской водой . . . . .	119
XXVII. Ливадийские розы . . . . .	124

**ДИКАЯ ПОРФИРА. Стихотворения 1909—11 гг.**

«Пары сгущая в алый кокон...» . . . . .	135
Гимны к материи	
«Ты дико-сумрачна и косна...» . . . . .	136
«Всему — весы, число и мера...» . . . . .	136
Два полюса	
Магнит . . . . .	138
Танец магнитной иглы . . . . .	139
Свершение . . . . .	140
Земля . . . . .	142
Воды . . . . .	143
Камни . . . . .	145
Металлы . . . . .	147
Темное родство . . . . .	148
Ящеры . . . . .	150
Махайродусы . . . . .	151
Человек . . . . .	153
В зоологическом музее . . . . .	154
Радостный мир . . . . .	155
Мясные ряды . . . . .	156
Марк Аврелий . . . . .	157
Коммод . . . . .	159
К Агуре-Мазде . . . . .	161
Вавилон . . . . .	162
Навуходоносор . . . . .	164
Поход Александра в Индию . . . . .	166
Нити парок . . . . .	169
Тени . . . . .	170
Двойник . . . . .	171
Валгалла . . . . .	172
На Волге . . . . .	173
Две крови . . . . .	175
Князья . . . . .	177



Слепцы . . . . .	179
Зори . . . . .	181
«Как янтарь, золотистые зерна пшеницы...» . . . . .	183
В пшенице . . . . .	184
На обрыве . . . . .	185
Сумрак аметистов . . . . .	186
Летние кошмары	
В городе . . . . .	187
В степи . . . . .	187
«Ресницы — как с пылью черной...» . . . . .	189
«И нас — два колоса несжатых...» . . . . .	190
«Подняв неслышно два прилива...» . . . . .	191
«Средь займищ травянисто-влажных...» . . . . .	192
«Пусть ищут мудрецы начало жизни хилой...» . . . . .	193
«Отупевши от медленной боли...» . . . . .	194
«Как сгусток магических зелий...» . . . . .	195
Свет луны . . . . .	196
«Что дневные все радости ваши...» . . . . .	197
«На облачных снегах паря...» . . . . .	198
Мускус . . . . .	199
«Дробя с могучего наскока...» . . . . .	200
Рассвет . . . . .	201
На аэродроме . . . . .	202
Сон ягуара . . . . .	203
Утренние сумерки (из Бодлэра) . . . . .	204
Сумрачный бог . . . . .	205



